

К следующему приезду Дмитрия из Оренбурга Мишка выздоровел и вполне мог ездить на коне. Дмитрий приехал верхом. Красивый конь был под новым, казачьим седлом. Брат собрался покататься с Мишкой по степям. Они вдвоём выехали в поле. Ехали и шагом, и рысью, скакали в карьер, разговаривали, подшучивая друг над другом, несколько раз вели коней в поводу. Мишка обсуждал с братом приёмы джигитовки, которых показать пока не мог по нездоровью. Дмитрию все эти номера были известны ещё с действительной службы, он их отработал в учебной команде, иначе его не выпустили бы урядником...

Они выехали на возвышенность. Внизу виднелись камыши и тростники, с обеих сторон обступившие речку Бердянку. За ними расстилалась равнина,

---

\* Продолжение. Начало в журналах «Гостиный Дворъ» № 3, 4

усеянная юртами — группами и по одной. Меж юртами мелкие, чёрные точки, как будто рассыпан мак. Это пасся скот.

Вдалеке дымилась юрта Кулумгарея. Мишка остановил коня, сам по себе повернулся и конь Дмитрия. Мишка указал нагайкой в сторону киргизских далей:

— Смотри, Митя, какая красота. Всё поле — сплошное селенье, все трубы салютуют дымами по утрам. Ты ведь давно не ездил к ним, не говорил с ними. Давай поедем. Здесь кибитка Кулумгарея. Помнишь, ездил к нам со старой женой, а теперь женился на другой, та у него, кажется, умерла.

Дмитрий о чём-то думал, он как будто очнулся ото сна, сказал:

— Ну всё равно, давай поедем поскорее.

Они перешли на рысь и скоро по вязкому броду переехали Бердянку.

Дмитрий хорошо говорил по-киргизски, любил гостить в аулах, принимать у себя, умел даже сидеть на полу, по-киргизски складывая ноги. Не только в первом, но и во втором, и в третьем аулах знали Дмитрия и любили его за казачью лихость и знание их языка.

От Бердянки долго ехали молча, каждый думал о своём.

— Митя, расскажи, как теперь управляется наша империя, лучше или хуже будет без царя? — нарушил молчание Мишка. —

Говорят, законы изменятся, а как изменятся — я не знаю.

Дмитрий усмехнулся, он не знал, что ответить. Офицеров не посвящали в тайны политики, считали это вредным для них.

— Когда пойдёшь на службу, сам всё узнаешь, а я сейчас ничего тебе не скажу, я сам ни черта не знаю. Другому бы я этого не сказал, постыдился бы, а тебе вот говорю, — признался Дмитрий. — У нас всё сейчас так замкнуто, что в десять раз хуже, чем у рядовых. Там говорят обо всём открыто, а у нас о самых обыкновенных вещах говорят шёпотом. Для нас, казачьих офицеров, вновь испечённых капризами войны, настало время свободной неволи и невольной свободы. То есть свободно и дёшево мы получили эту неволю, называемую свободой, и невольно получили свободу, которой абсолютно не добивались и не имели в ней никакой нужды... О государственном аппарате я знаю только то, что вначале был комитет, во главе которого стоял Родзянко, а потом — Временное правительство, возглавляемое князем Львовым. После июльских событий правительство возглавляет Керенский. Вот и всё. В правительстве постоянные трения и разногласия. Что до царя, то без него дело может пойти гораздо лучше, чем при нём, если в правительстве будет единодушие...

— Я ездил в город, — сказал Мишка, — там на каждом переулке митингуют. Влазит какой-нибудь

сморчок на мусорный ящик или на кадушку и кричит во все стороны, как петух на плетне. А когда его толкнут, то он опять лезет и опять кричит. Какой-то тип в мещанской шапчонке кричал во всё горло: «Только Учредительное собрание спасёт страну, а это правительство не хочет вводить реформы, долой это правительство». Его схватили, куда-то потащили, а на его место залез другой. Я ушёл, конь не дал мне послушать — боится толпы. Но вот какие реформы, в чём они состоят, я не знаю.

Дмитрий обещал объяснить брату об этом дома, так как уже подъезжали к юрте.

Кулумгарей давно заметил всадников, приложил руку ко лбу, старался определить — русские это или киргизы. Когда он понял, что это русские едут со своей степи, он позвал Балкунис, та бросила месить лепёшки на сале, которые пекла пресными на жару, вложив между двумя сковородами. Она вышла из юрты, когда всадники были в версте. Балкунис бросилась назад в юрту с криком: «Мишка, Мишка!» Восторга своего она не скрывала. Да разве Кулумгарей будет обижаться на то, что она любит Мишку? И иногда сидит с ним наедине? Ведь Кулумгарей и сам не меньше Балкунис любит его, всегда бывает очень рад его приезду. Да и как не любить его? Кто может его не любить?

Она вбежала в юрту и стала приводить себя в порядок, забыв о лепёшках.

Радуюсь приезду Мишки, Кулумгарей знал, что жена неравнодушна к этому юноше. Он был бы рад, если бы и жену любил такой хороший русский джигит, он бы гордился этим... Зачем он будет мешать их любви? Они молодые, пусть забавляются. Ведь Балкунис не видит в жизни никакой отрады. Да и если есть между ними какое молодое дело, оно не разрушит их семью. Балкунис заслуживает радость...

Навстречу Мишке Кулумгарей шёл с протянутыми руками, а когда узнал Дмитрия, прибавил шагу.

— Митька, Митька, сапсем гаспадинь остался! Сапсем здрастуй, пожалуста, Митька! Сапсем, пожалуста, джигит!..

Затянутая в офицерский мундир фигура Дмитрия поразила Кулумгарея. Светлые погоны подчёркивали красивое лицо под аккуратной фуражкой с голубым околышем и офицерской фарфоровой кокардой. Тёмно-синего кастора<sup>1</sup> с широкими голубыми лампасами брюки были забраны в светлые шевровые сапоги, облегающие ноги, как чулки. Братья как будто соревновались в красоте и грации. Если бы не Балкунис, Кулумгарею никогда бы в жизни не видеть у себя таких гостей.

Балкунис никогда не видела и не знала Дмитрия, но по лицу

определила, что это — Мишкин старший брат.

КазакИ прыгнули с коней, Дмитрий прошёл в юрту, а Мишка повёл коня к коновязи. Кулумгарей тянул Мишку за руку в юрту, как будто боялся, что он уедет обратно.

С нагайкой, надетой на руку, Дмитрий вошёл в юрту, часто произнося киргизские слова. Он перешагнул через ребро доски, изображающей порог, заговорил по-русски:

— Ого, Кулумгарей, когда же это и где ты нашёл себе такую жену? Это же ведь твоя жена, если не ошибаюсь? Ну вот, — Дмитрий вышел из юрты, кричал Мишке: — Иди сюда, Миша, посмотри, что Кулумгарей имеет.

— Да я знаю, видел уже несколько раз, — ответил тот.

Дмитрий опять вошёл в юрту.

— Мой марджа сапсем джигит, — с гордостью говорил Кулумгарей, — мой марджа сапсем Мишку любит.

Дмитрий поинтересовался:

— Так кто же кого любит, я не понял: марджа Мишку или наоборот?

И тут же перешёл на киргизский язык. Дмитрий говорил и смеялся. Балкуныс живо ему отвечала.

Смеялся и Кулумгарей. Наконец хохочущая, покрасневшая от стыда и радости Балкуныс пулей вылетела из юрты.

Мишка медлил, не входя в юрту. Он догадывался, что брат

говорит с этой проказницей о нём.

Кулумгарей вышел из юрты, взял Мишку за руку, тянул к Дмитрию.

Тот с улыбкой спросил:

— Я думаю, ты в восхищении? Ну ладно, дело не моё. А где же эта звезда? — И стал звать её сквозь стену юрты.

Балкуныс вошла, закрыв лицо руками, смеялась, потом села к Дмитрию спиной. Постепенно успокоилась.

Дмитрий сказал, обращаясь к брату:

— Да если эту сдобнушку ввести в культурное общество, она и без косметики такое произведёт впечатление, что городские красавицы от зависти губы кусают. Ты заметь, они очень быстро приобретают восхитительную грацию. Я знаю в Оренбурге одну татарку Валидову, от неё все наши офицеры с ума сходят. Ну а эта перещеголяет ту.

Чай ещё не выпили, а Балкуныс уже начала варить мясо для бешбармака.

Гости собрались было уезжать, но Кулумгарей заявил, что сейчас будет готов обед, не угостив которым, он отпустить гостей не может. Пришлось остаться...

Никогда Балкуныс не была в таком расположении духа, как сейчас. Она бегала, всему радовалась.

Когда казаки поехали, она долго шла рядом с конём Дмитрия, держась за уздечку. Кулумгарей стоял около юрты,

махал рукой гостям, а потом ушёл в юрту.

Обратно Балкунис шла спиной к юрте, не отрываясь, смотрела на отъезжающих...

— Ну как ты себя чувствуешь? — спросил Дмитрий брата.

— Откровенно говоря, Митя, мне не хотелось уезжать так скоро...

— Вот что, Миша, — энергично сказал Дмитрий, — ты должен будешь приехать ко мне в Оренбург. Тяте я сегодня скажу, что ты мне там нужен, и он отпустит. Свожу тебя в офицерское собрание, познакомлю с некоторыми офицерами, это тебе нужно будет... Да, — вернулся он к Балкунис, — эта способна закружить голову. Я посмотрел на неё — просто прелесть. А ты знаешь, каких-нибудь лет сто назад мы и они были бы самые непримиримые... Мы бы сейчас не разъезжали вот так по их полям, а сидели где-нибудь с кремневыми ружьями в камышах около Бердянки и караулили бы вот таких Кулумгареев. Он нас сегодня так радушно угощал. Не боялся. А тогда ведь сколько они нашего брата, вот как ты да я, на тот свет спровадили, у-у-у, не пересчитать. А теперь многие из наших казаков с ними большие дела делают: и торговые, и скотоводческие, и не обижаются на них. Да, без сомнения, они очень хорошие люди; простые, гостеприимные, у них хитрости нет. Они мне очень нравятся, я от них, кроме хорошего, ничего не видел.

У Веренцова двора братьев ожидали, их общество любили — шутников, песенников и танцоров. Мишка же, кроме всего, прекрасно играл на гармошке, без которой веселье — не веселье.

И снова всё завертелось колесом в этот вечер. А на рассвете Дмитрия Степановича проводили в город, не укладывая спать...

## 5

Мишка ещё спал. Мать подошла к кровати и сообщила, что к ним на квартиру поставлен какой-то молодой казачий офицер. Сейчас он ушёл в правление, сказал, скоро придёт.

Вскоре на пороге появился обмундированный с иголки хорунжий.

Из глубины зала Мишка шёл ему навстречу. Офицер приостановился, в упор посмотрел на Мишку, подавая руку: «Саша Ситников».

— А какой вы станицы? — представившись, спросил Мишка.

— Станицы Бердской.

— Так вы, наверное, знаете моего брата, Веренцова Дмитрия? Он до августа прошлого года обучал казаков в вашей станице.

— Ох, нет, я только что окончил юнкерское училище. В прошлом году и перед этим два года домой не ездил, не пускали, — сказал Ситников.

— А по какому делу приехали? — поинтересовался Мишка.

— Проверить кое-какие данные по выборам в Учредительное собрание. Хотя эта кампания

будет проводиться только в ноябре, подготовка уже ведётся...

Ситников и Веренцов понравились друг другу. Расставаться не хотелось, и они пошли в рощу пробовать два новых револьвера, привезённых хорунжим.

— Я замечаю, вы женатый? — обронил Ситников.

— Да, обкруженный, — усмехнулся Мишка.

— Какая легкомысленность! Жаль. Образование имеете?

— Экстерном готовился за шесть классов гимназии. Экзамена ещё не держал. Экзаменатор советует не беспокоиться.

— Я уверен, что в осенний набор вас примут в наше юнкерское училище. Ну а что женат... время военное...

— Это же обещает мне и брат. Я вчера был у него в Оренбурге, ходили с ним к атаману отдела — тот осмотрел меня со всех сторон, как коня на базаре, и сказал, что пропустит в юнкерское. А потом стали с братом что-то шёпотом разговаривать.

Прятели возвращались домой берегом Урала. У самой кручи стояла пожилая дама, из городских, и пристально гляделась в них, а когда они прошли мимо, пошла вслед. Около своих ворот Мишка невольно оглянулся: дама остановилась и подала ему какой-то знак.

«Мать Гали!» У него часто застучало в груди: он жестом попросил её обождать, а сам, проводив Ситникова в дом, вернулся

на берег. Дама, застывшая в неловкой улыбке, ждала.

— Вы не Галечкина ли мама? — с неожиданным для себя радостным волнением спросил Мишка.

Дама утвердительно кивнула головой и движением руки попросила идти с ней:

— Вы тот, кого мне хочется видеть?.. — полувопросительно-полуутвердительно сказала она.

— Я Веренцов Михаил, вы не ошиблись.

— Во-первых, здравствуй, Миша, во-вторых, привет от Гали, в-третьих, привет от Бориса Васильевича, в-четвёртых, это вот тебе, — она подала Мишке свёрток.

Мишку ошеломило это доверительное обращение барыни на «ты».

— Вот что, Миша, я завтра уеду, я здесь уже четыре дня. И видела тебя уже три раза. Видела твою маму в церкви, даже беседовала с ней. Хотелось увидеть папу, но не удалось. Если верить тому, что мы читаем в твоих письмах, то обстоятельства нас вынудят в рождественские каникулы перебраться в Оренбург. Галя уже договорилась о переводе с первого января в оренбургскую гимназию. Оренбург мне понравился, и мы не возражаем против решения Гали.

— То, что я пишу вам, это далеко не всё, что хочется сказать, — медленно и твёрдо говорил Мишка. — Я слов на ветер не бросаю, да и нет причин

отказываться от Гали, если, конечно, она не откажется от меня. Я прошу вас передать ей вот что: в ноябре я буду держать экзамен в юнкерское училище, уже есть согласие атамана отдела. И в знаниях своих я уверен.

Они пошли по крутому берегу Урала. Обычно живая, энергичная Мария Павловна сейчас молчала. Молчал и Мишка, переживая нахлынувшее прошлое. Но вот Мишкина спутница вобрала его долгим, испытующим взглядом:

— Ну, хватит, Миша. Иди домой... Не забывай Галю... Если так получилось... И так решили.

Мишка, в душе удивляясь себе, поцеловал Марии Павловне руку:

— Прощайте.

На следующий день Мария Павловна уехала домой, в Калугу.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

События совершались своим чередом.

Ввиду некоторых политических соображений Дмитрий Степанович в ноябре не рекомендовал брату держать экзамен. Он приезжал в дом отца грустный, взволнованный, задумчивый. В Оренбурге начались беспорядки. Писал с фронта брат Пётр, что русские солдаты отказываются идти в наступление, что лозунг Керенского «Война до победного

конца» фронтовиками не поддерживается, что этому лозунгу противопоставляется другой: «Мир без аннексий и контрибуций, долой войну, вся власть Советам», что русские братаются с немцами и австрийцами, что керенское наступление поддержано одними только женскими батальонами, сформированными в семнадцатом году под названием «Батальоны смерти». Когда эти батальоны пошли в наступление и прорвали три линии неприятельских окопов, то русские солдаты не только не оказали им помощи, но и обстреляли из пулемётов с тыла и фланга. «Батальоны смерти», попавшие под перекрёстный огонь, были скошены, как трава. Верховная ставка разбилась на несколько течений, а бежавший из австрийского плена генерал Корнилов с какой-то группой войск двигается на Петроград. На Дону образовалось какое-то самостоятельное правительство...

Мишка ничего не понимал в этих запутанных событиях, и не было человека, который разъяснил бы ему всё это.

В начале октября в станицу приехал казачий офицер, назвавшийся Чундеевым, на Мишку он произвёл невыгодное впечатление — не то что Саша Ситников, который так и стоял в глазах. Чундеев привёз множество листовок с крупно отпечатанными номерами, означающими различные партии.

На собрании, где присутствовали, к великому удивлению

всех, даже женщины, Чундеев объяснил, что казакам нужно голосовать за номер второй:

— Этот номер наш, казачий, нашей отдельной партии. Мы посылаем на Учредительное собрание генерального штаба генерала, атамана Оренбургского казачьего войска Александра Ильича Дутова.

Повторив несколько раз «номер второй», Чундеев пре-достерег:

— Если уж кто ошибётся и вместо второго номера проголосует за какой-либо другой номер, то всё ещё не так страшно. Но если проголосует за номер восемь!.. Этот номер самый вредный для нас, этот номер — большевистский. А большевики — это такие люди, которые хотят уничтожить казачество, уничтожить церкви, уничтожить религию, уничтожить частную собственность и семейность. Ну, в общем, чтобы все жили на одном дворе и в одном бараке, мужчины — отдельно, женщины — отдельно, и чтобы никто не знал своих детей и супружества; чтобы всё было общее: жёны, дети, одежда, пища и прочее...

Многие хохотали, некоторые задавали такие вопросы о распределении жён, что докладчик на них не отвечал, а задавший вопрос прятался за других. Некоторые женщины, закрыв лицо руками, бегом бежали с собрания домой, а некоторые в сенях, во дворе пережидали, когда перестанут об этом говорить.

Мужчины как будто ждали такого собрания, чтобы досыта насмеяться.

— Ну, башлыки<sup>2</sup>, молодцы, — кричали некоторые, — они знают нашу нужду. Мне бабу давно уж сменить надо, подносились, холера... Вот раздолье-то будет.

— Нет, мы не жалам, на черта вы нужны, старые черти, — шутили молодые, — меняться будем. Чур, каждый к своей пойдёт.

Чундеев призывал к порядку станичников, отвлекшихся от основного вопроса, потом провёл голосование.

За некоторыми убежавшими женщинами ходили на дом по два-три раза.

Как ни предостерегал Чундеев от восьмого номера, а в результате подсчёта голосов оказалось, что семь человек проголосовали за этот номер. И двое — за анархистов. Чундеев уехал...

## 2

Тем временем австро-германский и турецкий фронты рассыпались. Всё чаще стали возвращаться оттуда казаки. Приходили они как бы крадучись, долго не появлялись на улицах, стыдились. Вновь появившегося старики высмеивали, иронически спрашивали: «Ну что, отвоевался? Сколько орудий сменял немцам на табак? Вояки, навоевали, вашу мать...» — сплёвывая со злостью в сторону, отходил старик, не прощаясь, а встречался — не здоровался. Бежали казаки и в одиночку, и группами. Бежали



и из-под Петрограда, разбитые в армии Корнилова Петроградским гарнизоном, бежали из гвардейских частей и из «доблестного, непобедимого» 4-го Оренбургского казачьего полка.

Пробывших более трёх лет на передовых позициях, поседевших, постаревших, чудом спасшихся от смерти родных и знакомых встречали недружелюбно. Даже ближайšie родственники не только не устраивали никаких встреч, но и разговаривали с ними насмешливо, укоряюще.

Если сосед лукаво спрашивал: «Никак сынка, кум, дождался с фронта?» — тот отрицал новость, а сыну запрещал появляться на улице, и сын никуда не ходил, даже к теще в гости, чтобы не засмеяли из-за него и отца...

Заметно было, что фронтовики всем были противны, станица разбилась на два лагеря: на стариков, к которым примкнули молодые, не служившие в армии, — на одной стороне и фронтовых людей — на другой. Офицеры и антибольшевистски настроенные фронтовики поддерживали стариков.

Уже шёпотом стали передавать друг другу, что со стороны Самары какие-то большевики идут на Оренбург, и фронт прошёл уже Бузулук. Большевики идут уничтожать казаков под дугу. А казаки из Оренбургского гарнизона против большевиков не идут. Фронт держат только офицеры, кадеты, гимназисты да реалисты. Со всего видно, что

нам, казакам, приходит конец за то, что мы всегда в огонь и воду лезем, защищаем Россию, а большевики-то ведь за немцев, у них солдаты — только евреи да каторжники. А ихние главари от немцев деньги получили, чтобы Россию ослабить, ну а они и ещё грабят.

Грань меж домашними и фронтовиками тем более резко обнажалась ещё и потому, что большинство пришедших с фронта были, как говорили, большевистски настроены. Они говорили, что при переходе через фронт, около Бузулука, большевики их радушно встретили, накормили и сказали: «Если хотите, то вступайте в наши ряды, будем вместе у буржуев и офицеров брать Оренбург, а не хотите, ступайте через фронт домой под честное слово, что не присоединитесь к белым против нас». «А когда мы им ответили, что война уже надоела, ни к кому присоединяться не будем, кроме как к своей бабе, то большевики посмеялись и нас отпустили, тепло попрощавшись».

Фронтовики уверяли, что большевики совсем не собираются уничтожать казачество, кроме помещиков да фабрикантов, передав их богатство народу, то есть фабрики и заводы — рабочим, а земли, леса и все недра — крестьянам, что трудовой казак или крестьянин не рассматривается «эксплуататором», против которого только и идут большевики, что солдаты у них не евреи и каторжники, а чисто русские

— фронтовики или рабочие и крестьяне, вошедшие в Красную гвардию добровольно.

— Ни чёрта не пойму, — говорил сосед Веренцова, — сын пришёл с фронта, дак расхвалил этих самых башлаков чёрте как, инды пальцы оближешь, а зять пришёл — на все корочки их чепушит, что я уж хочу вилы брать, да бежать на Оренбургский фронт, Дутову помогать. И сын врать не будет, и зятю я всегда верю. Вот теперь как хочешь, Степан Андреевич, так и рассуждай.

— А я никому не верю, как только одному сыну Мите, — печально заключал Веренцов. — Он умный, рассудительный, это каждый скажет. Он прямо говорит, что большевики — шарлатаны, обманщики, вруны. Они всё отберут и у богатых, и до бедных доберутся, и никому ничего не дадут. Они, как змеи, извиваются, а политика у них: ограбить, расстрелять. Казаков они как чёрт ладан ненавидят. Сперва, может быть, и отпустят подпруги, а потом как подтянут, что задохнёшься. Вот и весь сказ.

— Ну уж я теперь ни ялды не пойму, — безнадежно махнув рукой, уходил от Веренцова сосед.

Перед самым Рождеством народ шёпотом передавал друг другу новость: ночью, когда стихает шум, в северо-западном направлении от Оренбурга слышны оружейные выстрелы. В газете произошло сообщение о том, что фронт

уже около станции Платовка. Через несколько дней выстрелы можно было слышать и днём.

### 3

Мишка подходил к дому. В прихожей горел свет. Мишка вошёл в избу и увидел беседовавших стариков: отца и свата. Вначале старики смутились, но Мишка, догадавшись о теме разговора, вставил несколько замечаний о Дутовском фронте. Тогда Степан Андреич подал знак свату.

— Дак вот, Степан Андреич, — продолжал сват, — я своими мозгами так думаю: не может быть, чтобы эти башлаки так делали, как нам про них говорят в городе купчишки. Им ведь, сват, никак нельзя верить. Они боятся, что у них магазины отберут, а нам с тобой чего бояться? Ведь у нас магазинов-то нет.

— Нет, сват, ты сам уж совсем, я вижу, в башлаки записался, — заметил, смеясь, Веренцов, — я уж как-то немного рад, как ты станешь так говорить, будто и на сердце не так тяжело. Что правда, то правда, казаки не должны бояться, ну а всё-таки, сват, я боюсь. Как ни утешай себя, сват, но они несут горе.

— Да нет, ничего, что будет, то будет, — махнув рукой, встал сват. — Ну, я засиделся, пойду, наверно, уж часа два есть. Мы вчера у нашего Василия сидели чуть не до петухов. И всё про это, и всё про это. Где ни послушаешь — всё про этих башлаков

проклятых. Ни дна им, не покрывши. Ну, прощевайте!

— Вот что, сынок, время нехорошее настаёт, — сказал вкрадчиво Степан Андреевич, как только за сватом закрылась дверь, — сколько ни утешай себя, а я прямо скажу, что много будет горя. Коня надо подкармливать. Тебя могут, как с полки, сразу выдернуть на фронт. А на фронте для казака конь — это всё. Конь может жизнь спасти и может жизнь погубить. Теперь твою верховку запрягать не будем, пусть гуляет. Может быть, ей с тобой вместе много горюшка придётся хватить... Вот Митя у меня как камень на сердце лежит. Где он теперь, милый мой сыночек, мой красавец, может быть, и живого уж нет. Вот сейчас сват говорил, что он от надёжного человека слышал в городе, что Митя на фронте под Бузулуком кадетами и гимназистами командует, а они, говорят, все молодые, прямо мальчишки. Ну что с них возьмёшь? Ты сам посуди. Но вот Митя, наверное, во все опасные места сам и лезет. Ох, Боже мой, Боже мой. Ведь только подумать, о нём уж третью неделю ничего не слышно...

Мишка вышел во двор, дал коню овса.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

На первый день Рождества, когда всё было приготовлено к

празднованию, обедня началась, как всегда рано, как будто для того, чтобы не отнимать день у веселья. В этом случае дня всегда не хватает.

Церковь битком набита народом. Если в последние годы собирались лишь женщины да старики, то теперь в станице появилось много казаков средних лет, много их пришло сегодня сюда, некоторые в военной форме с крестами до полного банта и с медалями.

В церкви уже царили какое-то успокоение и радость.

Несмотря на то, что женщинам полагалось быть врозь с мужчинами, жёны прибывших с фронта не хотели отдаляться, стояли рядом с мужьями, как под венцом. Будто чувствовало сердце, что скоро придётся расставаться вновь.

Детишки цеплялись со всех сторон за руки отцов, непрерывно заглядывая в глаза родителям. Свои казались красивей и милей всех других. На друзей-счастливых завистливо смотрели не дождавшиеся отцов. Таких было немало, их милых родителей оплакивали мамы, когда появлялся в станице новый «походный», прижимали к себе головки своих малюток, причитывали горькие, душераздирающие слова...

В храме прошло движение. Фронтвики и старики передавали шёпотом какую-то весть. Лица грустнели и строжали. Каждый хотел скорейшего окончания обедни. Люди переминались с

ноги на ногу, беспокойно оглядывались по сторонам.

Наконец стали прикладывать-ся к кресту, после чего в обычное время поздравляли друг друга, предварительно приглашали в гости, хотя после обеда каждый посылал за гостями специально-го гонца. Но сейчас не до гостей было тревожным жителям.

У церковной ограды соби-ралась толпа вокруг остановившего-ся там атамана. Он ждал, когда все выйдут из церкви.

Атаман взошёл на крыльцо церковной сторожки, указал жестом казакам обождать. В ожи-дании приговора не уходили и казачки. Атаман снял шапку, в волнении перекидывал её из од-ной руки в другую.

— Господа старики, — ска-зал он, — как вам всем известно о фронте, который уже почти у стен нашей казачьей столицы Оренбурга, вчера, 24 декабря, фронт продвинулся ещё ближе. Большевики идут напролом, им скорее хочется овладеть городом, разграбить церковное добро, надругаться над религией, надругаться над нашими жёнами и деть-ми, а нас уничтожить. Истинные сыны Родины и казачества исте-кают кровью на Оренбургском фронте, они отстаивают каждую пядь казачьей земли от озверелых банд красных большевиков. Наш славный атаман Александр Ильич, генерал Дутов<sup>3</sup>, передал просьбу всем верным нашим сы-нам и братьям: взять меч и встать на защиту нашего казачества, на

защиту Оренбурга. Повторяю, лучшие наши сыны истекают кровью, — он взглянул на строгое лицо Степана Андреевича, имея в виду Дмитрия на фронте, — они просят вашей помощи. Так вот, станичники, сегодня, как толь-ко разговееетесь, все мужчины, способные носить оружие, в ком бьётся кровь казака, собирайтесь к правлению и поедем в город, в распоряжение нашего войскового начальства. Атаман Дутов сегод-ня на фронте, его замещает дру-гой, он скажет, что нам делать: на фронт идти или пошлёт нас домой. А долг нами будет выпол-нен. Сейчас разговляйтесь и скорее седлайте коней.

В некоторых рядах шепта-лись, почти все фронтовики без слов направлялись домой. Их жёны кричали: «Пусть повоюют те, которые не воевали, наши на-воевались».

Старики шли домой хмурые, злились на фронтовиков, кото-рые, как видно, не хотели помо-гать Дутову. Желание стариков помочь своему атаману поддер-живала всегда воинственно на-строенная молодёжь, пока вокруг не свистели пули, быстро гасящие пыл храбрости.

В это Рождество из-за при-бывших с фронта близких, с ко-торыми не виделись более трёх лет, нужно было ожидать сумас-шедшего празднования, но после обеда не слышно было не только песен, но даже гармошек — всег-дашнего начала веселья вольной, беззаботной молодёжи. Всех

захватила невзгода, все чувствовали надвигавшуюся катастрофу, не знали только, какую.

Через час после обеда к станичному правлению стали съезжаться подводы, больше на санях по трое-четверо казаков. Добровольцы — слишком зрелые и слишком молодые. За редким исключением фронтовое казачество не поехало.

Фронтвики сидели в хатах, пили самогон, на улицу не показывались. Было грустно, печально, жутко. С фронта доносились частые, глухие орудийные выстрелы. Станица казалась полумёртвой.

## 2

Нескончаемая вереница саней и верховых направилась к Оренбургу. Через два часа колонна въехала в город, заворачивая к правлению первого округа Оренбургского казачьего войска. Там получили предписание разместиться в пустом здании духовной семинарии и ждать распоряжений. Вся орава ввалилась в одну из огромных комнат, где и началась попойка по случаю праздника Рождества.

Помещение понемногу наполнилось песнями и плясками, потом стали мазать друг друга сажей, распоряжений же всё не было. Войсковое начальство, видимо, забыло о поступившем подкреплении из Благословенной или уверилось, что всякая помощь теперь бесполезна. Почти весь отряд был без оружия.

Вооружены были лишь те, у кого в хозяйстве оказалась винтовка, полученная с фронта от родственника.

Мишке было не до смеха. Он всё думал о Дмитрие. Ему казалось, что это он там, на фронте, около станции Гамалеевка, стоит у орудия и стреляет — голодный, озябший, похудевший, обросший. Когда слышались выстрелы, Мишке хотелось бежать туда, сменить брата, встать на его место, дать ему отдохнуть, научиться стрелять самому, научиться быть офицером, научиться воевать. Хотелось, чтобы Митя был здесь, вместе с друзьями, чтобы видеть его веселье, слушать его шутки. Но Мити нет и будет ли он вообще когда-либо... Слёзы подступали к горлу, Мишке хотелось плакать, он сидел в углу, смотрел на всех и ничего не видел.

Отряд решил вторично послать представителей к войсковому начальству, чтобы договориться о месте на фронте и вооружении.

Заметно уже было, что приехавшие на помощь Дутову в такой великий день пьянства заскучали по своим домам и не находили ничего приятней, как ускользнуть сейчас восвояси. С таким настроением и отправилась делегация. Не дожидаясь её, некоторые стали потихоньку запрягать коней и под предлогом съездить напоить их удирали домой, беспрерывно оглядываясь, как бы не увидели их «военный пыл».

Вернувшиеся делегаты объявили, что они поскандалили с начальством из-за вооружения, и сказали, что колонна помогать фронту не будет и сейчас уедет домой.

Не дослушав их до конца, бравые вояки во всю мочь закричали: «Домой, домой!» — и бросились к коням.

Через несколько минут все в несколько рядов скакали по улицам Форштадта к выезду на свою дорогу. Горе встретившимся с этой дикой скачкой людям, животным — всё попиралось в прах. Исступлённо кричали и ругались с теми, кто появился на пути и мешал ездить людям, проливающим кровь...

Мишка был недоволен таким оборотом дела. Сегодняшний случай, по его мнению, был сорван оставшимися дома фронтовиками.

Это они, мерзкие, сдружившиеся на германском фронте с большевиками, не дали возможности Мишке быть в сформированном сегодня полку, это они не хотят помогать брату Мите, с которым Мишка мечтал встретиться на фронте. Злой, убитый горем, он не заехал даже к сестре, а тихо, нога за ногу, поехал по дороге к своему дому в станицу, но ехал будто не домой, а из дома.

Надвигались сумерки. На полпути он увидел скачущих навстречу пьяных на двух санях. Они громко, беззаботно пели и балагурили. Подъехав вплотную, во всё горло закричали: «Мишка,

Мишка, садись с нами, поедem назад в город, гулять!» Схватили Мишкиного коня за повод. Мишка молчал, испытующе смотрел на сельчан, наконец спросил, почему они не поехали на призыв Дутова. Те ответили, что они от большевиков не намерены отстреливаться ничем, кроме, как вот этой штукой — и показали бутылку с самогоном. Мишка побледнел, демонстративно вырвал повод коня и поскакал по дороге к станице.

Друзья долго смотрели Мишке вслед, а потом молча сели в сани и без песен, как-то стеснённо, тихо поехали своей дорогой в гости. Им была понятна Мишкина злость, как понятно и то, что теперь придётся иметь неприятности со всеми Веренцовыми...

### 3

В ночь под пятнадцатое января украдкой приехал домой Дмитрий. Дома ему сказали, что с фронта вернулся брат Пётр, живёт с женой у отца. Пока никуда не ходит, видно, стыдится людей.

Небритый, осунувшийся, с диким, затравленным взглядом, Дмитрий рано утром, когда было ещё темно, пошёл к отцу. Его не видели уже шесть недель. Степан Андреевич жарко здоровался с сыном. Только от него он мог узнать настоящую правду. Неведение личного будущего, положения казачества грызло Степана Андреевича с тех пор, как стал доноситься грохот оружейных выстрелов — с тех пор

Веренцов не знал покоя. Он несколько раз ездил в город, чтобы от хороших людей узнать, что делается на фронте, что ожидает казаков, если большевики займут Оренбург. «Хорошие знакомые» — купец Илья Петрович Ефимов и есаул Василий Петрович Прытков — рисовали самыми чёрными красками картины, если город будет сдан большевикам. Но положение на фронте Платовка — Гамалеевка — Новосергиевка, мол, не так уж и безнадежно. Если бы вы, казаки, взялись дружно, то, мол, Оренбурга большевикам как ушей своих не видать.

Из Оренбурга Степан Андреевич приезжал чернее тучи, отказываясь от еды, от самогона. Он знал, что Митя на фронте оставляет родной город от каких-то пришельцев, которые хотят казачество уничтожить, скотину согнать на один двор, сундуки вытряхнуть в один амбар, всех баб в один дом, мужчин — в другой, ребятишек — в третий, и все эти дома закрыть на замки и отгородить друг от друга колючей проволокой.

Степан Андреевич был рад, что сын Митя держит Оренбургский фронт. Если бы ему сказали, что сын убит, то отец весь век гордился бы этим — мол, сын погиб за безопасность и непоруганность отца и матери, жены и детей, казачества и религии. Погиб за такое дело, за которое никто ещё в истории не погибал.

От пришедшего с фронта среднего сына он ничего толком

не добился. Пётр стал расхваливать большевиков и успокаивать отца так, что Степан Андреевич больше расстроился. Теперь он чувствовал, что спит с обеих сторон, как иглами: с одной стороны — печаль о старшем сыне, с другой — злоба на среднего, который не беспокоится за казачество, превратившись на германском фронте в большевика. Теперь утешения ждать только от Мити.

И вот сегодня рано утром, внезапно он увидел своего сына, Митю, на пороге родного дома. Отец чуть не до слёз обрадовался этому милому, дорогому гостю, будто не рассчитывал уже встретиться с ним. Приближение выстрелов означало, что большевики движутся к Оренбургу, а раз так, то они, может быть, уже перешагнули через труп сына. Ведь не такой Дмитрий, чтобы отступать, не таковы Веренцовы.

Но вот Митя на пороге дома. Отец недоумевающе смотрит на сына, радость смешалась с испугом. Измученный вид Дмитрия кольнул отца в самое сердце. Степан Андреевич долго не мог выговорить ни слова, смотрел на улыбающегося, не проходившего вперёд от порога сына. Дмитрий мял в руках заиневевшую офицерскую папаху, потом тихо сказал:

— Здравствуй, тятя! Здравствуй, мама!

— Здравствуй, милый мой сыночек! — тихо заплакала Елена Степановна.

— Здравствуй, Митя! — тихо,



чуть не шёпотом, сквозь слёзы сказал Степан Андреевич, озираясь по сторонам, будто их разговор могли подслушать. — Ну как же, сынок, эти большаки, идут, штоль? — спросил он.

— Да как же они не будут идти, если никто не хочет защищать наш родной казачий Оренбург? Вот эти оборванцы-то, вроде нашего Петра, бегут с фронта: и тот бросили, и на этом воевать не хотят. Даже офицеры не идут против них, этих красных. Эти офицерики, из родовитых семей... Пришли к нам на позицию, дали им участок, а они воткнули винтовки в снег и ушли в Оренбург. Да я бы на них на всех одного кадета или гимназиста, которыми командовал, не поменял. Вот как они поддались агитации большевиков. А те пройдут, всё равно с них шкуру спустят, сегодня или завтра большевики будут в Оренбурге.

— Боже мой, Боже мой! Ведь они же, сыночек, побьют вас, постреляют, — тихо голосила мать.

Пришибленный, разбитый, разом ослабший Степан Андреевич сел на нары, опустил бороду на грудь.

Дмитрий был жесток, зол, немолчим. Как видно, не на одном десятке красногвардейских голов он уже пробовал свою пашку и револьвер-кольт и теперь чувствовал надвигающуюся расплату — глаза были дикие, страшные, озирающиеся.

— Уж видно, что Бог даст, — сказал он, — будем на Бога

надеяться. А где же этот вояка-то, там, в той избе, штоль? — спросил он родителей. Степан Андреевич утвердительно кивнул головой и махнул рукой в сторону горницы с другим ходом, через коридор. Дмитрий криво усмехнулся и быстро, решительно вышел из комнаты.

Мишка лежал на кровати, ему не хотелось вставать, хотелось понежиться — помогать отцу по двору выходил в эти дни Пётр. Тот в это время уже собирался, а его жена оделась помогать Елене Степановне.

Дмитрий вошёл в горницу, не взглянув в сторону Петра и его жены, равнодушно сказал: «Здравствуйте» — и прошёл вперёд.

Услыхав голос Дмитрия, Мишка вскочил, перешагнул через Наташу, торопливо оделся на полу около кровати в спальне, наблюдая за Дмитрием сквозь стеклянные двери.

Дмитрий прошёл два раза поперёк зала, стал смотреть на давно известные ему фотокарточки, как будто видел их в первый раз. С братом Петром он будто виделся только вчера и поговорить с ним было не о чем.

Наконец со злобой, дрожащим голосом Дмитрий спросил:

— Ну как дела, братан? Как же вы это фронт бросили?

— Да я с фронта-то и так чуть не последний ушёл, — тихо, с расстановкой ответил Пётр.

— Ну, а Оренбург, свой родной город, почему не хотел защищать?



— От кого защищать? Здесь ни германцев, ни австрийцев нет.

— Как «от кого»? А эти супостаты-то идут, враги человечества? — спросил брат.

— Какие враги? — иронически, с улыбкой говорил Пётр. — Они нам не враги. Они враги буржуям, золотым и серебряным поганам. Пусть защищает тот, кто порохового дыма не нюхал, да тот, против чьих интересов большевики, а я не буржуй и не офицер...

Напряжённые за последнее время нервы кидали Дмитрия на все стороны, ноги дрожали, рот кривился в язвительную гримасу, он ходил по комнате, не мог говорить, несколько раз хватался за бок, где всегда был колыт, злился, что оставил его дома — он сейчас бы разделался с братом.

— Подлецы, негодяи, кто так думает, и ты подлец, негодяй, мерзавец, изменник. Проснётесь, мерзавцы, но будет поздно. Нас выбьют, постреляют, это я знаю наверняка, но и вам, негодьям, тем более, казакам, житья не будет, и вас уничтожат. Вы — предатели, вы предаёте нас, своих братьев, предаёте казачество, предаёте самих себя, — дрожащим голосом говорил Дмитрий. — Миша! Где ты там? Я к тебе пришёл, мой милый брат, я соскучился о тебе, ты у меня один брат остался, наш брат нас покинул, предал нас, он передался нашим врагам.

Пётр продолжал невозмутимо одеваться и улыбаться.

Мишка негодовал на брата Петра. Он, как и всегда, поддерживал Дмитрия. Он выскочил из спальни, крепко обнял брата. Они несколько раз расцеловались. Дмитрий долго держал Мишку в объятиях.

— Миша, может быть, в последний раз видимся, — сказал Дмитрий, — уберёшь скот, приходи ко мне — там выпьем, поговорим кое о чём.

Пётр прошёл мимо них во двор.

В крепкий узел завязалась меж кровными братьями тяжкая рознь. Катастрофу нужно было ожидать со дня на день...

Отец, Пётр и Мишка ходили по двору, молчали. Чувствовалось непоправимое.

#### 4

Через два дня приехавший из города сосед, не отпрягая коня, робко вошёл во двор Веренцовых, прошёл в дальний сарай к Степану Андреевичу и дрогнувшим голосом сообщил, что вчера в Оренбург вступили большевики. Веренцов побледнел, деревянная лопата выпала из рук. Новость сейчас же передали Дмитрию, и он в ту же ночь выехал.

Позднее Степана Андреевича уведомили, что его сын около Орска вместе с атаманом Дутовым.

Весть о занятии Оренбурга Пётр встретил совершенно равнодушно. О Дмитрие ему не сообщили.

Несколько дней казаки ближайших к городу посёлков и

станции не ездили с продажей в город, а посылали своих жён:

— Ты там всё разузнай: посмотри, какие они, правда ли, что все они русские или какие нехристи, как говорят. Съезди к собору и к монастырю, посмотри, не закрыли ли эти храмы Божии да не сняли ли кресты. Да не вздумай сказать, что ты казачка, а то они живо загонят на общий двор, наделаш тогда делов, язви те. Ну, поезжай с Богом, — провожая, напутствовал муж.

Вступившие в Оренбург советские части почти ничем не отличались от самых обыкновенных, всем известных солдат русской армии. Красногвардейцы в большинстве своём были те же солдаты с австро-венгерского фронта. И лишь когда Красная гвардия стала пополняться местными жителями, появились люди в штатской одежде с винтовками вперемешку с солдатами-фронтниками. Они ходили по городу, несли какую-то внутреннюю службу.

В оренбургской печати замескали фамилии нового городского начальства: Каргины<sup>4</sup>, Кобозев<sup>5</sup>, Коростелёв<sup>6</sup>, Цвиллинг<sup>7</sup>.

Ни новые власти, ни войска из города не выезжали, поэтому станции и посёлки жили обособленной от него жизнью. По предложению фронтвиков в некоторых казачьих станицах были образованы комитеты во главе с председателями, в некоторых — сельские советы, в третьих — избраны атаманы из бедных, в четвёртых

— и атаманы, и председатели, в пятых — ни председателя, ни атамана, ждали директив из города. В общем, получилась неразбериха, трудно было понять, где какая власть.

Вернувшиеся из города женщины говорили, что там всё спокойно, никто не спрашивает проезжающих, откуда он, казак или не казак, будто власть не менялась.

Благословенцы тоже решили переизбрать атамана. Прежний — из зажиточных — сам требовал того.

— На сходку идите, атамана выбирать! — кричали огнёвщики<sup>8</sup>...

В школе, где уже привыкли собираться, было как в пчелином улье. Шутки, смех, острые слова по адресу некоторых, впервые появившихся на казачьих сходках женщин, казалось, не переслушать за неделю.

Темой разговора и остроумия опять-таки был вопрос об общих дворах для женщин и мужчин. Наконец у стола встал атаман, призывая к порядку и тишине, которая никак не могла водвориться среди бушевавшей толпы.

— Господа старики! — с обычных слов начал атаман. — Большаки бедным людям велят управлять казаками, а богатых, что ни на есть, к чёртовой матери. Я уж боюсь в город ехать, чтобы там ухо не приклеили, язви их в рожу. Дак вот, надо атамана какого победнее выбрать. Вот и давайте, кого хотите.

— А может, они и тебе вязы не свернут, останься, а? — кричали с парт. — Они только, говорят, генералов да помещиков, да купцов из шкуры вытряхивают, им черева выпускают, а казаков, бытты, не трогают, можа, послужишь? А?

— Нет-нет, господа старики, ради Бога, ослобоните, у меня и так инда рубашка трясётся, не могу, не останусь.

— Ну кого же, господа старики? Давайте, раз уж так просят. Сильничать человека не надо, — сказал кто-то.

Сидящие за партами стали группами советоваться о кандидатуре и тут же вступали в спор меж собой или с тем, кого выдвигали. Из-за парты встал казак, выступление которого всегда считали авторитетным.

— Моё мнение такое, — сказал он, — надо и атамана, и председателя сделать. Если Дутов приедет, то мы атамана подсунем, а если большаки явятся да скажут: «А ну, покажь нам свою власть на селе», то мы атамана-то спрячем, а покажем председателя. А?

— Нет, нет, не жалам так, — кричали от порога, — ежели у нас будет атаман, большаки ничего не скажут, мы скажем, что не знали, что к чему и как. А вот ежели Дутов с Митрием Веренцовым нагрянут, да прихватят нас с эфгим присядателем, то мы и требухой не разделаемся. Вот как.

— Знамо, знамо так, — кричали с мест, — не жалам двух. С чеблаками-то ишша как-нибудь

докалякаемся, а уж ежели Дутов, то хоть сёводни в поминанье записывайся.

Со всех сторон кричали: «Правильно!» Первого оратора никто не поддержал. Не менее часа атаман сидел за столом, ждал, когда люди успокоятся и остановятся на ком-либо, но некоторые уклонились от основного вопроса, перешли на другую тему и скалили зубы с разомлевшими от жары и стыда бабами, не успевшими сбежать домой. Атаман уж было задремал, но вскочил, стукнул кулачищем по столу и заорал во весь бас так, что все притихли, как в зверинце, когда заревёт лев:

— Дак вы что, холеры, дождусь я вас альбо нет? Вы дело делать альбо зубы скалить? Вы чё, сёдни дрыхнуть не хотите? До третьих петухов ошшеряться будете?

Встал за партиой один пожилой казак. Все повернули к нему головы.

— Моё мнение, — сказал он, — надо Митрия Титыча атаманом посадить. — Он показал пальцем на красивого мужчину с чёрной как смоль бородой.

Тот злобно блеснул угольными глазами на непрошеного избирателя и отвернулся в сторону, шептал ругательства.

— Митрий Титыч не жалат, — заметил кто-то.

— Выберем, дак будет служить, никуда не денется, — поправил его сосед.

— Ну тогда ево, так ево. Титыча! Титыча! — кричали со всех

сторон. — Знамо, хороший мужчина, хороший атаман будет, кого ещё искать? Жалам ево, он славный казак, вот только водку почти не пьёт, вот это как-то не того, — смеялись некоторые.

— Чёрт с ним, научится, под старость пригодится и это, — говорили другие.

Всё школьное помещение снова гудело. Некоторые уже опять перешли к вопросу об общих дворах и кричали, что, мол, нужно выбирать здорового и красивого атамана на случай, не дай Бог, если когда-нибудь придётся ему, бедняжке, одному отдуваться за всех на общем бабском дворе. Шутники знали, что Титович не любил пригреваться около женщин, поэтому старались подчеркнуть, что, мол, и этому ремеслу необходимо научиться новому атаману, язвы ево.

Едва ли в таких случаях считались с несогласием избираемого, сход постановил — и закон, но Дмитрий Титович всё-таки встал, поднял руку, потом опустил её, снял обеими руками трух, повернул голову направо и налево: чёрные кудри упали на чистый лоб; шапку он держал перед собой.

— Дак вы чё, господа старики, — мать-перемать, — крепко и спокойно ругался Титыч, — вы чё, трибуналу меня отдать хотите? Да разве можно в едыкое время служить? Вы чё, хрен вам в лёбры, с ума сошли?

— А чё особенного? Ну не понравится, дак кинешь эфту

работу, другова выберем, — кричали с мест, — а может, башлыки-то ничего, вон сказывают, они тоже хорошие ребята. Соглашайся, Митрий! Ну не супротивничай, Титыч, тебя ведь всем обчеством просим! Ну пожалей нас, чёрта бы тебе в зубы!

— Ну ладно, заткнитесь! Чё разорались? — согласился кандидат. — А уж если в случае чё, то тогда и в правление из дому не пойду, сами управляйтесь.

— Ну, то-то и оно, давно бы так, вот и спасибо, — кричали ему, — ха-ха-ха, поманили ево опчим бабьим двором, сразу согласился, вишь, сидит и облизыватца. Кому не захотится на бабах-то покатацца — кааажному.

С дальнего ряда кто-то громко крикнул: «Титыч! Ты смотри, если моя баба попадётся, дак ты не сильно жми, пожалей — кума жа!» — Поднялся оглушительный хохот. Новый атаман смеялся, грозил кулаком в сторону друзей-насмешников...

Начался магарыч. Задымились самогонные аппараты, подставляли рты под капающий самогон, ложась на спину. «Обмывали» нового атамана. А через неделю, проспавшись, Титыч поехал в город. Вечером вернулся обратно и, не отпрягая коня, быстрыми шагами пошёл в станичное правление.

Через час школа была полна народом, собранным туда на какой-то позарез экстренный сход.

Обеими руками поднял атаман лежавшие на столе карандаш,

ручку и лист бумаги, посмотрел на все стороны, запальчиво сказал: «Вот вам хомут и дуга, я вам больше не слуга, пошли от меня к протакой...» — надел треух, невозмутимо ушёл домой.

Свистели, смеялись, кричали ему вслед, но атаманить всё же пришлось старому атаману, законному, утверждённому войсковым кругом.

## 5

Вскоре после прихода Красной гвардии в Оренбург Мишка с матерью собрались туда с продажей, чтобы посмотреть большевиков. Степан Андреевич энергично уговаривал сына не ездить, пусть, мол, немножко успокоится время, зачем лезть на рожон — недолго пропасть.

— Мишка, ведь тебя любой узнает, что ты казак: и по шапке, и по рылу, и кушак у тебя голубой, — уговаривал отец. — А разве долго им тебя к стенке поставить? Если они идут против казаков, как говорят, что они всех казаков хотят уничтожить, то им когда-никогда, а убивать нас надо, — жалобно, с болью говорил постаревший за эти дни отец. Мишка отмахивался, не слушал, собирался. Веренцов шептал жене, чтобы она там не отпускала Мишку никуда.

— Возьми вон лучше Петра, он наденет свою шинель, ну, солдат, да и только, — уговаривал Степан Андреевич — да он и говорить-то с ними знат как. А этот ведь дурак дураком, тут же

наsupротив пойдёт. Как тогда: я же был виноват, пьяный городовому оглоблей в спину заехал, а когда городской назвал меня пьяной харей, он стал с городовым драться. А потом ускакали на Девскую площадь.

В городе, на зелёном базаре Мишка увидел группу вооружённых людей в военной и гражданской одежде с винтовками, карабинами и охотничьими ружьями. Мишка подбежал поближе. Их было восемь человек, направлялись они по Инженерной улице. Мишка поравнялся с ними, стал заглядывать сбоку в лица. Военные обратили внимание, как видно, такое было не впервые.

— Ну и этот смотрит, как на волков, — заметил один.

— Это правда, — сказал Мишка, — я для этого и из деревни приехал, чтобы посмотреть и передать там о вас. А то там всякое говорят.

Красногвардейцы приостановились, шутили с Мишкой. Они ему понравились, не казались опасными. Он вернулся к бледной матери весёлый и довольный. А дома рассказал об этом только своим семейным, с посторонними не делился, чтобы не посчитали «большевицки настроенным»...

Отъехавшие из ближайших к городу станиц жители стали потихоньку, робко возвращаться домой. Через неделю вернулся и Дмитрий Веренцов.

Подавленное вначале настроение стариков теперь повеселело, подбадривалось фронтовиками,

уверявшими, что они были правы, говоря: большевиков бояться не нужно, с ними можно жить так же, как и при любой власти. По просьбе старого атамана он всё же был заменён, на всякий случай, более бедным. Всё пошло хорошо.

Офицеры и казаки, энергично выступавшие на собраниях против большевиков или боровшиеся с ними на Дутовском фронте, стеснялись ходить по улице. Дмитрий Степанович избегал встречи с братом Петром — неудобно было за недавнюю ссору. Офицеры станицы говорили меж собой: «Если бы большевики нам простили и призвали в армию, с удовольствием бы к ним пошли. Ведь нам здесь делать нечего, мы — военные, хозяйства у нас нет. Пошёл бы к ним даже и Дутов, один бы он без нас не остался. Оказывается, большевики совсем не такие, как нам говорили, и как мы думали сами». Но некоторые уверяли: «Подпруги нам отпустили временно — их скоро подтянут»... То же доказывал и Дмитрий Веренцов.

Из Оренбурга вдруг поступила директива: атамана быть не должно, выбрать председателя. Это озадачило станичников, стали собираться группами, шептаться: сперва, мол, атамана не надо, а потом и нас всех под спуд. Фронтвики уже советовались со стариками и офицерами: «А не на самом ли деле так получится, что казачество ликвидируют?»

Шёпотом вдруг стали перекладывать друг другу: в Оренбурге расстреляли казачьего генерала Хлебникова. А он якобы совсем и не воевал против большевиков на Оренбургском фронте. Вот что они сделали, такие-сякие, ругались казаки.

Но всё это забылось бы. Ну, расстреляли ведь генерала, а не казака... Но как гром при ясном небе: разрушена статуя казака в Оренбурге на Форштадтской площади — казак на коне в полном боевом вооружении выехал на пригорок, всматриваясь в даль.

Это событие встряхнуло всех. Рушились радужные ожидания совместной, мирной жизни с большевиками. Засобирались, зашептались злобно: «Казака не надо, разломали, разбросали, значит, им всех нас не надо? Правду говорили офицеры, что они идут уничтожать нас...»

Офицеры и все противники новой власти повеселели, шутили над фронтвиками: «Ну как, поедем к своим друзьям-большевикам в Оренбург чай пить?» Всколыхнулось казачество, стало сливаться в один дух, рознь как клином вышибло, с часа на час ждали вспышки.

Разрушение статуи, мелочь на первый взгляд, заставило казачков-фронтвиков согласиться с непримиримыми станичниками: молодёжью и стариками, пересмотрели фронтвики свою позицию «не сопротивляться большевикам». Останься она, казачьи

посёлки и станицы, где ведущую роль играли фронтовики, никогда не поддержали бы Дутова, а потом и Колчака.

Вокруг Илецкой Защиты уже шли какие-то бои, но кто с кем дрался, нельзя было понять и проверить — тоже. Лежали глубокие снега. Всё ещё продолжали идти с фронта казаки и солдаты, лояльные к большевикам, но дома их сейчас же разубеждали, и они присоединялись к общему настроению.

Ехавшие с продажей в город мимо разрушенной статуи казаки злобно отворачивались и сплёвывали, как будто видели там призрак разрушителя казачьей традиции. Встретившись в городе с красновардейцами, скрипели зубами.

Дмитрий стал ходить к отцу. Он уже разговаривал с Петром наедине. Уже и шутили порой. В довершение дружбы стали и выпивать, но политических тем старались не трогать. Дмитрий был уверен, что брат понял своё заблуждение и разделяет его взгляды, а больше ничего не надо, лишь бы, при случае, не оказаться в противных лагерях...

Слухи о том, что верхушка в станицах, возглавляемая офицерами-фронтовиками, разбежавшимися из Оренбурга, агитирует против Советской власти, родили спущенную в сёла и станицы директиву о выдаче всех офицеров и реакционно настроенных. Директива эта окончательно обозлила казаков — они, а с ними и

все стали собираться вокруг офицеров и георгиевских кавалеров, в которых теперь видели опору в борьбе с нарушителями их традиций, посягателями на существование казачества.

Набаты и собрания до глубоких ночей чередовались беспорывно. Горячие велись споры. Приходили к убеждению, что мирно прожить с большевиками не придётся, рано или поздно, а столкновения не миновать, нужно быть настороже и живым в руки не даваться. Офицеров в станице было около десяти. Георгиевские кавалеры, имеющие полные банты, присоединились к ним, а значит, и к их политической участи...

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### 1

В ночь на двадцать второе марта<sup>9</sup> 1918 года Пётр и Мишка спали на своих постелях. В школе ещё шумело какое-то собрание фронтовиков, куда ни Пётр, ни Мишка не ходили. Около полуночи в горницу из прихожей вбежала Елена Степановна и тревожно принялась будить сыновей:

— Сыночки, вставайте, что-то сильно забили в набат, уж не случилось ли что. Боже мой, Боже мой, ну что это за жизнь настала! Где же теперь Митя-то. Вы ступайте, сыночки, уж поскорей, узнайте — не приехали ли эфти большаки собирать офицеров. Митю-то, Митю скорее найдите,



да скажите ему, чтобы он спрятался!

Мишка и Пётр быстро вскочили, наскоро оделись. Звон большого колокола был такой явственный, как будто звонили во дворе. Братья шли на площадь, волновались, каждый думал о Дмитрии. Пётр теперь признавал своё заблуждение — кровно он обидел тогда старшего брата по своей слепоте...

Около школьного здания столько народа, что казалось: все вышли из домов на площадь. От набата ничего не слышно. У крыльца школы привязаны какие-то чужие, осёдланные, заинеवेशие кони. Школьное помещение битком набито народом. Набат прекратился, приехавшие казаки молчали, свои фронтовики стали объяснять собравшимся:

— Станичники, большевики посягают на жизнь казаков, на их неприкосновенность! Расстреляли генерала Хлебникова ни за что, сбили и раскидали статую казака, а теперь уж и за нашими офицерами присылают, с которыми мы в окопах сидели, вшей кормили, нужду и горе пополам делили. И вот они офицеров требуют, чтобы их в городе расстрелять, а за офицерами, скажут, богатеньких давай, а потом георгиевских кавалеров, они тоже у них на горле сидят, а у нас больше половины казаков — кавалеры. Они так никогда не наедятся: овечку сожрут, потом коровку, потом лошадку, а потом и за старухой придут.

Вот верхние станицы идут брать Оренбург, выгонять большевиков и устанавливать там нашу, казачью власть. Отряд казаков верхних станиц движется по Орской дороге, он вступил уже в Нежинку, вот оттуда представители. Мы уже послали туда своих, они приехали обратно: отряд большой, командует им войсковой старшина Лукин. Он уже выступил на Оренбург, нам надо скорее собираться и ехать туда же.

Толкотня, разговоры, крики, споры сливались в тревожный гул.

— Священника, батюшку, попа давайте, — кричали с разных парт стоящие на них старики, фронтовики, подростки, — молебну служить надо да и ехать!

Кто-то кричал: «Панафиду служить надо», не имея о том понятия.

— Может быть, наши братья в городе уже кровь льют, а мы будем здесь чухаться. Нас и так уже Дутов в большевики записал за то, что отказались на Оренбургский фронт идти, а теперь, если казаки займут город, и мы не поддержим, то нас казаки верхних станиц постреляют, как изменников, да и следует тогда стрелять.

За священником побежало человек двадцать. Мишка и Пётр увидели Дмитрия с офицером Крыльцовым, они о чём-то вполголоса беседовали. Веренцовы, как будто целую вечность не видели брата, кинулись к нему.



— Ну что здесь творится, куда собираются казаки? — задали братья в сотый раз слышанный и известный уже всем вопрос.

— Да вот видите, собираются ехать Оренбург братья, — ласково, по-братски, но без радости и жара ответил Дмитрий. Крыльцов стоял в стороне, курил и молчал. Видно было, что они только что разговаривали об этом.

Дмитрий объяснил братьям положение в Нежинке и решение благословенцев поддержать атакующих город. Подчеркнул, что, мол, наше дело — повиноваться и ехать, чтобы не оказаться изменниками и не понести кару, если атакующие овладеют Оренбургом. На вопрос братьев, можно ли ожидать положительного исхода всей этой затеи, Дмитрий, не стесняясь Крыльцова, ответил:

— Нет. Хотя этот проект исходит от самого атамана Дутова, но я и вот Алексей не разделяем его.

Тем временем с улицы на площадь табуном высыпала толпа. Тянули за руку и толкали в спину упирающегося, протирающего сонные глаза попа. Тянули его к школе, а он уговаривал толпу зайти в церковь, чтобы взять там необходимые принадлежности, без которых не полагается отправлять богослужение. Необыкновенное шествие время от времени останавливалось, происходила торговля: те — звали к школе, этот — к церкви.

— Время военное, а ты будешь там по церквам расхаживаться, а там тебя тысяча человек ждут. В

башлыки, штоль, с этих пор записался, язви те в лёбры, не хочешь нам эти свои панафиды служить?

Несколько человек подбежали к атаману:

— Господин атаман! Да поп там упёрся на углу как бык, и тянет нас в церкву. Тут надо скорее, а он какие-то там потрохили хочет собрать.

— Я ему вот, сукину сыну, дам потрохили. Насекайте ему под бока да тащите прямо суды, — распорядился атаман.

Через минуту толпа с попом подступила к школе. Несмотря на отсутствие епитрахили, тот на ходу загорланил: «Благословен Бог наш», и служба началась.

С хохотом Пётр и Мишка пошли домой собираться к отъезду, как будто они ехали куда-то в гости.

## 2

Каждый казачий двор имел какое-то оружие. Все четыре года войны с фронта слали родным оружие противника: австрийские и германские винтовки, карабины, револьверы. А когда фронт рухнул, многие возвратившиеся принесли русские трёхлинейные винтовки. Как будто чувствовали, что оружие пригодится, да не знали, что оно принесёт горе и нужду, страдание, смерть. В довершение всего атаман Дутов, эвакуируя Оренбург, раздал населению оружие из городских оружейных складов. Веренцовы тоже были вооружены.

Елена Степановна приготовила сыновьям поесть, старалась побольше натолкать каждому в карман сдобнушек.

— Ладно, пусть пост, Бог простит. Это у меня от Масленицы осталось, — говорила она. — Ну а как же вы там, аль воевать придётся? Ну а Митя-то что говорит?

— Митя твой, наверное, трусит, — заметил Пётр, — я уж вижу, что ему хоть бы и не ехать, дак он был бы рад. Кто бы ему власть отвоевал, а он бы погоны прицепил да приехал в город. Ну а может быть, он знает, что ни черта не выйдет, его ведь сам чёрт не поймёт.

Елене Степановне не нравились такие отношения между сыновьями. Какая-то кошка всё-таки пробежала меж ними, как говорила она. Но Пётр уже не был в раздоре с братом, а только заподозрил его в трусости, сам полностью поддерживая набег на Оренбург.

Мишка, как всегда, защищал Дмитрия:

— Ну уж ты не дури, — сказал он Петру, — твой ум да моих два едва дотянут до Митина ума: что он сказал, так и будет.

— Да, оно, пожалуй, действительно так, — согласился Пётр.

Братья вышли на улицу, остановились, прислушались: из Оренбурга отчётливо доносилась дробь двух-трёх пулемётов и отдельные винтовочные выстрелы. Братья дулетом выстрелили из двух винтовок вверх и пошли на

площадь. Там уже тянулись подводы одна за другой. Каждые сани битком набиты казаками всех возрастов — от внуков до дедов. Со всех сторон кричали Веренцовым, звали к себе в сани. Братья отговаривались: «Да у нас там свой конь запряжён, туда идём к нему» — выбирали, с кем бы веселее ехать.

Дмитрия не было нигде. Как оказалось после, он далеко опередил их. Пётр и Мишка расселись на разные сани.

Дорогой Пётр несколько раз соскакивал со своих саней, разыскивал Мишку. Он всякий раз просил брата не отбиваться друг от друга в городе — на случай ранения или окружения. Вкусивший все прелести войны, Пётр знал, куда они едут и что их там ожидает.

А из Оренбурга всё чаще и явственнее доносилась стрельба. Встречались по дороге люди, не казаки, они ехали в свои сёла и хутора домой, мирно и равнодушно смотрели на эту войну русских с русскими. Роняли, что в Оренбург едва ли нужно ехать, город уже весь занят казаками. Но из перестрелки следовало, что овладение городом далеко не закончено.

Опасения и предостережения брата Мишка считал излишними. Никого, мол, там не окружают и не ранят, всё это чепуха, просто Петя струсил, и всё. Большевики, наверное, уже все убежали из города, а стреляют просто им вдогонку, думал он.

Положение же в Оренбурге было таково. Организованный по заданию Дутова набег планировал атаку города с трёх сторон — от станиц Нежинской, Сакмарской и Павловской. Все станицы и посёлки были уведомлены своевременно и секретно. Станице же Благословенной открывать намерение набега не рекомендовалось, она считалась большевистски настроенной, могла выдать секрет и сорвать дело. Поэтому её уведомили только тогда, когда отряд со стороны Нежинской уже выступил в направлении на город, то есть около двенадцати ночи. Посылая депешу в Благословенную, командующий правобережной группировкой войсковой старшина Лукин строго приказал проследить за поведением благословенцев на собрании: примут ли предложение о поддержке. Обо всём немедленно докладывать ему, Лукину.

Отряд из Нежинки выступил на Оренбург. Уже в дороге Лукин получил несколько донесений: «Благословенная согласна поддержать набег»; «Благословенная собирается к выступлению»; «В Благословенной на площади идёт молебен о даровании победы»; «Она выступила».

Точного времени набега Оренбург не знал, но всё ж был уведомлён об этом. Ночами в двух верстах за Форштадтом выставлялся усиленный караул на Нежинскую дорогу.

Отряд Лукина остановился в верстах в пяти-семи от Форштадта

— вперёд были посланы сани с огромной плетёной корзиной для подвозки мякины. В ней, покрытой брезентом и не привязанной к саням, сидели вооружённые казаки, сбоку около коня шёл казак, как бы везя в город продажу.

Каждого проезжающего караул останавливал и обыскивал. Сани с плетёнкой поравнялись с постовой землянкой. Из неё — в тридцати шагах от дороги — вышли шестеро, и, бряцая в темноте оружием, направились к саням.

— Что везёшь?

— Мякину!<sup>10</sup>

Караул подошёл к саням вплотную, чтобы заглянуть в плетёнку. Через мгновение он полёг весь — зарубленный, зарезанный, задушенный выскочившими казаками. В землянке уничтожили без выстрела остальных.

Подъехал отряд, торопливо двинулись к городу. В первых кварталах Форштадта беспощадно уничтожили штаб караулов для связи с центром города. Вот Форштадт уже позади — оставленные там казаки шныряют по домам, ищут большевиков и сочувствующих.

Главные силы отряда проникли в город. Преодолев слабое сопротивление красноармейских частей в Форштадте, казаки ринулись в городской центр. Смерть хватала всех без разбора...

### 3

Колонна из Благословенной въехала в город уже часов в десять утра. На площади, отделяющей

Форштадт от города, пахло порохом дымом, кровью — там лежали убитые и раненые, их было очень много. Некоторые из них бесчеловечно изрублены, другие просили о помощи. Кто они, понять нельзя: красные или белые, просто ли городские обыватели. Почти все в штатской одежде, все русские.

Мишка спрыгнул с саней, побежал смотреть убитых, первый раз в жизни он видел их. Колонна остановилась около здания Оренбургской станицы. Подъехал верхом на коне Лукин, поблагодарил за поддержку.

Без всякой команды казаки группами уходили в глубину города, откуда раздавались оглушительные выстрелы.

Пётр и Мишка держались вместе в группе человек из двадцати. Их подвели к зданию семинарии, приказали стрелять в окна с середины улицы. От выстрелов некоторые стёкла вылетали вовнутрь, в некоторых пуля сверлила дыру, как буравом. Из здания никто не отвечал, оно было пусто. Группа направилась дальше. Встретились незнакомые казаки, гнавшие пленных «большевиков». Мишка пристально смотрел на пленных, он увидел таких же, как и он сам, людей. Казак из Мишкиной группы вышел вперёд, подняв руку, остановил конвой, вывел за руку одного пленного, конвойным же сказал:

— Я этого типа знаю, он казак линейных станиц, я с ним служил вместе, он — ярый

большевик. Этих ведите, а он будет рассчитываться здесь.

Конвой подал знак пленным следовать дальше, а обречённый на смерть большевик остался. Казак-белый деловито-равнодушно, без запальчивости воткнул штык ему в бок, как в чучело на учении. Штык вышел на четверть из другого бока.

В предсмертной агонии раненый судорожно схватился за ствол винтовки и тихо повалился на бок. Убийца вырвал винтовку. Упавший вниз лицом раненый потянулся и повернулся с живота на бок. Из толпы вышел казак с большой рыжей бородой, добивая, выстрелил в лежащего. Тот тряхнулся всем телом и потянулся в последний раз. Группа направилась дальше, а казак-большевик остался лежать на снегу большой птицей, убитой так, мимоходом — пробуя ружьё или проверяя меткость.

В первый раз Мишка видел, как люди встречают смерть, которую, может быть, не ждали и полчаса назад, а днём раньше — тем более. Тогда человек собирался жить много лет, строил планы, хотел любить, быть любимым... Мишка ещё раз оглянулся на бездыханный труп. «Ах, так вот оно что, — думал он, — вот как убивают, вот как умирают. Оказывается, и то, и другое так просто и так легко, что напрасно так много ведут разговоров о жизни и о том, как лучше устроить её. А ведь подумать только: чик — и жизни нет. Или хвороба какая

язызы человеку свернёт, или люди помогут, вот и собирайся долго жить, да ещё — хорошо жить. В общем, надо беречь жизнь другого, её защищать от смерти, это легче, чем уберечь свою, за неё не удержишься, когда люди захотят этого. А вот делается как-то наоборот: каждый старается уничтожить другого и гибнет сам»... Мишка шёл и упорно думал о том, что так потрясло его.

Зашли в какой-то двор казармы, там помещалась военная часть, теперь отступившая на дальнюю окраину города, откуда неслись звуки выстрелов. Казаки вбежали в казарму, рубили шашками подушки, матрасы, койки.

Мишка, дрожа от какого-то нетерпения, выбежал со двора казармы, побежал дальше, в глубину города, к выстрелам, брата Петра бросил. Нет, ему не нравилась такая война, чтобы встречать пленных и колоть их штыками или рубить брошенные матрасы. Он хотел увидеть войну настоящую, когда противники друг против друга с оружием в руках. Мишка побежал быстрее, чтобы увидеть войну и повоевать. Он оставил позади Николаевскую улицу, толчок. Вот уже Хлебная площадь. Кругом щёлкают выстрелы.

У нападающих казаков на рукавах — белые повязки. Мишка с белым лоскутом на рукаве машинально повернул назад, потом — налево за угол, побежал по Введенской улице к кафедральному собору. Стрельба трещала

со всех сторон. Звуки выстрелов схватывались стенами и дворами огромных зданий, отражались ими. Направление звуков так искажалось, что скорее можно было принять их с противоположной стороны.

Мишка уже добежал до угла Введенской и Петропавловской улиц. В окне длинного и низкого углового дома, на карнизе которого вывеска с часами, показалась человеческая фигура, она в волнении махала Мишке рукой, подавала знаки, чтобы он уходил. Мишка остановился, нерешительно повернул и пошёл обратно. Он сделал уже с полста шагов, когда из-за дома, принадлежащего часовому мастеру, выбежали трое с винтовками и дали по Мишке залп. Горячая струя воздуха резанула Мишке по правой щеке и уху, он оглянулся и побежал. В полквартале оглянулся ещё раз: двое стояли на месте, а третий преследовал Мишку и был уже в двадцати шагах. Мишка остановился, злобно сверкнул глазами, вскинул к плечу винтовку, красногвардеец повернул обратно и пошёл — как видно, у него не было патронов. Мишка опустил винтовку и двинулся дальше.

Предупреждение из окна часовщика спасло Мишке жизнь. Его далеко заметили трое красногвардейцев и ждали за углом, чтобы залпом застрелить в упор. Не суждено было Мишке погибнуть на этот раз.

Через квартал ему встрети-лась женщина.

— Слушай-ка, молодой казачок, сорви белую повязку, здесь кругом красные, — оглядываясь, вкрадчиво сказала она, — сорви-ка поскорее, милоч. — Мишка развязал белый платочек, положил в карман. Свернув налево, на Орскую улицу, Мишка увидел двух человек с белыми повязками, они входили в какой-то двор. Мишка нацепил повязку снова и завернул в тот же двор. В его глубине кроме вошедших двух было ещё три казака, они устанавливали к каменной стене шесть человек для расстрела.

Мишка подбежал к ним:

— Что вы делаете, сволочи? — не своим голосом закричал он. — Не смейте стрелять! Смотрите, кого стреляете. Это наши, форштадтские! — Хотя он на самом деле не знал их.

Казаки обалдели, попятились назад, некоторые наставили на него винтовки.

— А ты кто такой? Откуда? — злобно кричали они.

— Пошли скорее со мной, вон там настоящий бой идёт, туда надо, а эти никуда не денутся, если они виноваты, они сзади фронта. А вы, марш отсюда, чего разинули рты, стойте? — закричал он на людей у стены. Двое из них зарыдали от радости, по их лицам градом катились крупные слёзы.

Выйдя из ворот, казаки увидели, что случайно спасшиеся побежали в сторону Форштадта, на территорию, занятую казаками.

Мишка с гордостью ещё раз

заметил казакам об их оплошности, хотя и сам не знал, как это совпало. Он повёл группу на Гостинодворскую улицу, откуда бежали люди, крича, что там идёт настоящий бой около дома Панкратова. Мишка бросился туда, казаки же отстали и вернулись, все они были не знакомы ему.

На Гостинодворской ничего нельзя было понять: люди толпились группами, стреляли, один выстрел вызывал три-четыре отзвука. Прежде чем стрелять в толпу, спрашивали друг у друга: «Вон это наши или они?» Люди перебегали улицу, падали, тащили раненых. Около угла дома Панкратова толпилось с десяток казаков, они заглядывали за угол и стреляли туда. Мишка тоже подбежал и заглянул за угол: на другом порядке переулка, у ворот какого-то дома, также толпилось человек двенадцать, казаки стреляли по ним, а те — по казакам.

Мишкин станичник Бурлуцкий вышел вперёд, за угол, чтобы выстрелить, но винтовка выпала у него из рук, и он упал на спину. Пуля попала в бровь и вышла в затылок. Мишка забежал за угол, стал стрелять по толпе у ворот. Оттуда часто защёлкали выстрелы, пули впились в кирпичную стену вокруг Мишки, летели осколки кирпича. Мишка звал в атаку на людей у ворот, но казаки не согласились. Он плюнул, надел винтовку на плечо, торпливо пошагал к Форштадту.

Выйдя на Форштадтскую площадь, он увидел и услышал

движение и стрельбу слева от зелёного базара до монастырских кладбищ. Мишку потянуло туда, он спешил, как будто искал пропавшую красавицу-смерть, но её нигде не было, и у него болело сердце от неудовлетворённого желания. Сердце просило какого-то исцеления, может быть — пули...

Мишка увидел неприятельскую цепь, бегом наступающую по базарной площади, растянутую по Инженерной улице до мусульманских кладбищ и дальше, со стороны кузнечных рядов, наступающую обходным движением по монастырским кладбищам к Форштадту с севера.

#### 4

В начале этой ночи эшелоны красногвардейцев отправились из Оренбурга на фронт к Илецкой Защите — станицы, расположенные по линии Ташкентской железной дороги, восстали против Советской власти и рвались к этому городку, чтобы с его захватом прервать железнодорожное сообщение Оренбурга с Ташкентом.

Эшелоны уже подъезжали к Защите, когда в Оренбургский ревком поступило донесение о набеге и казачьей расправе в бывшем юнкерском училище. Была дана команда о немедленном возвращении эшелонов — в Оренбурге почти не осталось войск. Нёсшие комендантскую службу красноармейцы были поголовно уничтожены в училище.

Часам к десяти утра возвратившиеся части рассыпались по

привокзальным улицам и повели наступление к центру города, где и вошли в соприкосновение с казачками, без всякой команды, кучками бегавшими из дома в дом, с улицы на улицу. Казаки считали, что город свободен от войск, и дело только за уничтожением отдельных сопротивляющихся.

Организованными в боевые единицы казаки не были, ехали обозом, на санях, как на базар, а когда разошлись по городу, то другого названья, как банда, им нельзя было дать. Несмотря на то что все офицеры были на стороне казаков, они не могли организовать планомерного удара по городу, почти пустому.

Встретившись с красноармейскими цепями, казаки толпой, табуном побежали назад, как будто не было необходимости драться. Отряды же со стороны Сакмарской и Павловской станиц так опоздали, что подступили к городу только часам к десяти дня, вместо двенадцати ночи, и топтались на месте, пока отряд Лукина был совсем вытеснен из города, — тогда они, как будто только этого и ждали, повернули восвояси, отказавшись атаковать город, хотя их удары по обоим флангам советских цепей имели бы решающее значение...

Когда Мишка увидел наступающие цепи и отстреливающихся казаков, он бросился к центру фронта против мясного базара. Навстречу разрозненными группами бежали отступающие, советские же цепи представляли



правильные линии, за первой цепью следовала вторая. Откуда-то, со стороны вокзала, начало бить по Форштадту, на шрапнель, орудие. Мишке хотелось рассмотреть летевшие где-то в вышине над площадью снаряды, которые рвались сзади, над Форштадтом. Он впервые видел эту картину: белый огромный клубок дыма на месте разорвавшегося снаряда долго висел в воздухе, вниз воронкой летели во все стороны шрапнельные осколки.

От советской цепи щёлкали частые, беспорядочные выстрелы. Пули свистели, разрезая воздух. Сбоку Мишки упал казак на спину — он был мёртв. Мишка узнал в убитом своего сельчанина Колесникова, стал стрелять с колена по цепи. Рядом упал ещё один казак, за ним второй, третий. Правее после отступающих казаков остался раненый, к нему подбежали из советской цепи и два раза в него выстрелили.

Правее Мишки цепь приблизилась на расстоянии не более тридцати шагов. Мишка торопливо стрелял, пока не услышал внятный голос красногвардейца из цепи: «Брось, молодец, не стреляй!» Мишка на мгновение увидел красивое, добродушное лицо того, в кого он, может быть, несколько раз стрелял, хотел убить. Мишка оглянулся и побежал. Около него никого не было, казаки отбежали уже дальше, чем была неприятельская цепь, они останавливались и стреляли мимо Мишки в противника. Мишка

больше не стрелял, как будто добродушное лицо «врага» запретило ему это делать, оно, это лицо, всё ещё стояло у него перед глазами. Мишка пересёк площадь. Сзади, уже не останавливаясь, бежали незнакомые казаки. Цепь неприятеля несколько приотсталла. Мишка бежал уже Форштадтом, по Атаманской улице, над головой где-то в вышине с грохотом рвались снаряды, кое-где с форштадтских дворов щёлкали винтовочные выстрелы — видимо, в отместку за ночной разбой.

Около здания аптеки одновременно с щёлкнувшим сзади выстрелом горячий воздух лизнул Мишку по левой щеке, он качнулся, пошёл шагом, не оглядываясь, рукой пощупал щёку — крови нет. Вспомнил о белой повязке на руке, сорвал её, положил в карман поддёвки. Вот дом сестры. С бледным лицом, в слезах сестра встретила Мишку на пороге.

— Ну как, Мишенька, отступают наши-то? А где же Митя и Петя, живы ли они?

Мишка настолько был расстроен, что не мог говорить. Как будто на него наставили дуло винтовки и сейчас грянет выстрел, хотя и жить-то ему уж как будто не хотелось, всё в жизни было потеряно. Он сдавленно ответил:

— С Петей мы как-то разошлись на Орской улице, а Митю мы видели только когда въехали в Форштадт, утром.

— Ну, давай покушай немножко, красавец ты наш. Очень-то не



расстраивайся, покушаешь и прямо ступай скорее домой, — просила сестра и поставила на стол обед. Мишка глянул на еду, и его затошнило. Было уже два часа дня. Так сильно куда-то рвалось сердце...

— У меня вот есть крендели в кармане, мама ночью наклала, но я не хочу, — сказал Мишка. — Дождусь, что большевики захватят и вместе с тобой расстреляют.

Сестра тоже боялась этого, но брата почему-то не хотела отпускать. Сейчас, как никогда в жизни, ей хотелось смотреть и смотреть на него, чтобы насмотреться досыта, навсегда. Мишка стоял у порога с винтовкой на плече, прислонившись к косяку. Лицо у него было бледное, искажённое, печальное, жалкое. Он тоже старался насмотреться на сестру, но неведомая сила толкала его за дверь. От опасности ли толкала или на опасность, неизвестно. Неведомая до этого пронзительная любовь брата и сестры сказала обоим, что больше они не увидятся.

Пристальнее посмотрев ещё раз на сестру, шатаясь, как пьяный, Мишка вышел во двор. Тихая тёплая погода начавшейся весны теперь дышала холодом, даже снежные сугробы казались ему не белыми, а какими-то серыми, страшными. В квартале от них лопались выстрелы. Мишка вышел на улицу, за ним сестра. Рукой он подал знак, чтобы она вернулась во двор, в безопасное место, сестра повиновалась, он

закричал вслед: «Прощай!» — и пошёл от ворот.

Всюду скакали казаки, все направлялись в Форштадт на Нежинскую и Благословенскую дороги. На санях какие-то казаки закричали: «Мишка, Мишка! Попадёшь в лапы, иди скорей!» — но не остановились, проскакали.

Беспорядочная череда отступающих казаков на санях, верховых, пеших, потянулась от Форштадта к Благословенной. А там женщины, старики и подростки со слезами встречали своих родных.

Увидевшие своих живыми и здоровыми радостно бежали за санями, расспрашивали об убитых и раненых.

## 5

Обливаясь слезами, Елена Степановна стояла за станицей. Слезы застилали ей глаза, не давали видеть дорогу. Вдали показалась подвода, в ней три человека. На вопрос: «Не видели Мишу?» — те ответили, что в последний раз видели в обед у дома Панкратова, где был убит Бурлуцкий, а потом не видели. Там он два раза выбегал за угол и стрелял в большевиков, а за этот угол нельзя было голову показать. Вот он какой дурной, этот самый ваш Мишка.

Подъехала и ещё одна подвода, казаки сказали, что они из Форштадта выехали последними, за ними вслед вышел какой-то пеший, но его догнали несколько всадников из большевистской

кавалерии и зарубили прямо у них на глазах. Если Мишки всё ещё нет, то не иначе, как это он. Елена Степановна упала в снег лицом и говорила что-то бессвязное. Её подняли, положили на сани, но она быстро очнулась, соскочила с саней и с широко раскрытыми глазами и разведёнными руками, как молодая, побежала по дороге к Оренбургу. Ей теперь хотелось лишь одного: чтобы скорее добежать до убитого сына и чтобы скорее зарубили её рядом с ним.

Сколько она бежала по пустынной дороге, она не помнила и не чувствовала. Сколько раз падала, тоже не знала, у неё были разбиты колени, ладони, лицо. Наконец ей показалось: впереди много точек. Не иначе как кавалерия. Точки двигались навстречу, а потом явственно показались всадники. Она бежала и в исступлении кричала бессвязные слова: то просила или требовала отдать ей сына, то просила убить её, чтобы быть с сыном вместе. Между тем люди, как грозовая туча, двигались к ней. Она упала и потеряла сознание. А когда пришла в себя, то уже ехала на санях, её на руках держал Мишка. Казаков было четверо, они выехали из Форштадта другой дорогой и тоже видели, как кавалеристами был зарублен станичник Храмов Фёдор Михайлович.

Мишку ждали отец и Дмитрий. Пётр был уже около правления, где обсуждался вопрос об организации отряда для

самоохраны и защиты, потому что обозлённые большевики могли явиться каждую минуту.

Спорили и судили: кто виноват в провале набега. Из Нежинки сообщили, что там задержали отступающего начальника отряда Лукина — его собираются вывезти в Оренбург и выдать властям, чтобы смягчить вину казаков.

Поговаривали уже и здесь о выдаче своих офицеров, но большинство доказывали, что офицеры ни при чём, они не только не настаивали на участии в набеге, а наоборот, были против этой затеи. Не надеясь на твёрдость этих доводов, офицеры всё же покинули станицу и уехали вверх по Уралу, к Орску. Там где-то был Дутов.

## Часть вторая

### ИСХОД

#### ГЛАВА ПЕРВАЯ

##### 1

Дикая расправа в Оренбурге в ночь на 22 марта 1918 года нависла чёрной тучей над казачеством края. Первый удар советского возмездья должна была принять станица Благословенная как подгородняя.

На Оренбургскую дорогу смотрели как на источник смерти для всей станицы. Хотя на этой дороге стояли посты, все казаки, старые и молодые, спали одетыми. При малейшем стуке

вздрагивали, выбегали на улицу. Жёны просиживали ночи около спящих мужей, слушали, не загудит ли колокольный набат, не застучат ли выстрелы, — чтобы успеть разбудить сонных.

Ожидая нападения, казаки сознавали, что наказывать их есть за что, и большевики это сделают. Но те не шли, не до этого было.

Неотступного внимания требовал Илецкий фронт, где казаки грозили парализовать Ташкентскую магистраль. На их разгром и уничтожение вышел отряд красногвардейцев под командованием Цвиллинга. Он оттеснил казаков от железной дороги на участок Илецкая Защита — Акбулак и преследовал до станицы Изобильной.

Видно было, как отступающие обозы белых потянулись из станицы. Отряд Цвиллинга решил занять Изобильную.

Пустые кварталы поразили могильной тишиной, как будто селенье вымерло. Отряд вступил в станицу. На церковной площади возник митинг.

Вдруг раздался выстрел бомбёта. Из-за церковной ограды и со дворов ураганом вынеслись казаки — и со всех сторон пошла глухая, яростная расправа и быстро кончилась. Отряд Цвиллинга погиб весь вместе с начальником и штабом...

Расхождение между казаками и советской властью росло с каждым днём. Установить

новую власть в станицах и посёлках было невозможно — организованные отряды казаков, подступавшие под самые стены Оренбурга, ежедневно заходили в сёла, истребляя всех причастных к сельским советам. Отряды в казачьих станицах, будто для охраны от большевиков, сами делали налёты на дорогу и на селения, принявшие чужую власть.

## 2

Уже снег стал проваливаться на дорогах. На Урале лёд посинел, по нему сплошь натаяла вода. В зауральных станицах с нетерпением ждали разлива Урала и оврагов, отделяющих их от Оренбурга.

Если раньше жители Благословенной сетовали на реку, каждую весну преграждавшую путь в город с продажами, то теперь они были рады разливу реки, что хоть на время делало жизнь менее опасной, давая вздохнуть полной грудью, а там, мол, что Бог даст, авось всё забудется, утрясётся, и с большевиками помиримся.

Гора за Уралом на форштадтской степи стала обнажаться, а гора за Бердянкой на киргизской стороне почернела. Урал бурлил жёлтой, как глина, водой. У берегов лёд высоко поднялся синими широкими лентами. Вода блестела, бурлила, лёд ещё стоял, потом со страшным скрежетом стал ломаться и двигаться вместе с водой.

Дорога в Оренбург совсем прервалась, облегчив душу, но из пригородных и находящихся около железной дороги станиц и посёлков приходили далеко не радостные вести. Рассказывали, что большевики сжигают дотла казачьи станицы, а жителей вырезают, что как только половодье кончится, овражки стекут, поля высохнут, красные высадутся из вагонов на Меновом разъезде, что в семи верстах к югу от Оренбурга, и нападут на станицу, о чём в городе открыто говорят.

Надвигалась посевная. В это время всегда весело готовились к посеву: ремонтировали бороны, плуги, сбрили, подсевали на решетках зерно. Табуны уже паслись в поле, вечером хозяева встречали их, а они с диким рёвом носились вокруг станицы и по улицам, пока не набегают, и приходили домой все в грязи, тяжело дыша, как вволю наигравшиеся дети. Теперь же заготовленные с осени паханные земли уже сохли, местами их можно было боронить, чтобы не упустить время, но туда никто не ехал, даже не готовились к посеву. Скот в табун не выгоняли — боялись, что его захватят большевики. Закрытый дома, он жалобно кричал, разламывал рогами плетни и разваливал стенки сараев.

Когда же кто-нибудь, озираясь, ехал в поле боронить, его зло высмеивали: «Какой рабочий

стал! Уж не богатеть ли вздумал? А не думает, что, может быть, завтра башлыки придут да вязы набок свернут сукиному сыну. Уж дрых бы с бабой дома да с неё на городскую дорогу почаще поглядывал!» «Да ведь чо бояться ему обчива двора-то, его бабы на всю енперию хватит», — говорили другие. А тот, если и хотел что-то посеять, вечером гнал вскачь домой, может быть, в последний раз переночевать с женой, которую большевики вот-вот заставят отвести на обший двор.

Настороженность замечали даже у животных — они с тоской смотрели хозяевам в глаза, лизали руки, плечи, головы. Табуны, если робко и выгоняли, то на киргизскую сторону, подальше от Оренбурга.

Не могли понять киргизы возникшей смертельной борьбы между русскими. Они поддерживали борьбу казаков против советской власти потому, что большевиков не видели, не знали их идей. В киргизских аулах отсиживались контрреволюционно настроенные казаки и офицеры, сагитировавшие киргизов на свою сторону...

Как только просохла дорога, к Веренцовым приехал Кулумгарей. Он был печален, похудел. Как и другие киргизы, он вместе с казаками тяжело переживал это время. Он сказал Веренцовой:

— Балкуныс просил твоя на моя кибитка. Там будешь жить.

Бачлык придёт, твоя далеко будет, а Мишка и Степан тада тоже придёт. Так казал мой Балкуныс. Вот вся, собирайся!

Мишке Кулумгарей сказал, что Балкуныс плачет, просит его приехать в гости.

— Што ты, што ты, Кулумгарей, разве можно думать сейчас о гостях? Мы каждый день к смерти готовимся, а ты в гости зовёшь...

Кулумгарей засобирался и быстро распрощался, он боялся долго оставаться в станице.

Внезапно приехал Дмитрий и вечером куда-то ушёл. Жене сказал, что уходит на всю ночь.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Уже более полугода не было связи Калуги с Оренбургом, письма не доходили. Изредка газеты сообщали о событиях под Оренбургом. Говорилось, что банды казаков сковали город непрочным кольцом, которое разрывается при атаках советских частей. Тем не менее связь города с внешним миром парализуется. Атаман Дутов отступил далеко внутрь территории войска и через своих агентов-офицеров руководит организацией белых банд.

Через знакомых москвичей Галя знала, что связь Москвы с Оренбургом, пусть нерегулярная, но есть. Она решила ехать в

Москву, чтобы оттуда пробраться в Оренбург, а там до Миши рукой подать — с каждого высокого здания или колокольни видно не только станицу, но и дом Веренцовых на высоком берегу Урала. Галя решила любой ценой перетащить Михаила в Калугу от этой кровавой вакханалии с ежедневными жертвами с обеих сторон.

Родители не разделяли намерений дочери: время неспокойное, отношения их неясны, Михаил женат. Как часто бывает, решил случай. Отца Гали, Бориса Васильевича, арестовали как крупного собственника. Он сумел передать домой записку, в которой беспокоился за судьбу семьи и советовал дочери уехать из Калуги, неплохо, если и в Оренбург, под защиту твёрдой руки атамана Дутова с казаками.

Время отъезда Гали настало. Она наугад послала вперёд письмо — может быть, дойдёт. Она писала: «Мой милый, мой желанный, мой родной, сердце изныло по тебе. От тяжёлых вздохов уже болит грудь. Но не такое сейчас время, чтобы дожидаться тебя. Я поеду к тебе, даже если бы сказали, что я погибну. Едва ли ты получишь это письмо, прежде чем я буду уже на месте, если судьба не сведёт в могилу, разлучая с тобой на этом свете. Умирая, буду называть твоё имя. Я не раскаиваюсь, что всё поставила на карту, если и придётся заплатить за это

жизнью, то я её отдам, это не дорого...»

Через день залитая слезами Галя прижала к груди мать и крепко поцеловала в последний раз. В отошедшем поезде она уже не видела, как на вокзале мать отливали водой, отхаживали скипидаром и спиртом...

В Москве Галя попала на сибирский поезд, а в Самаре с огромным трудом удалось упротисить старуху-доктора взять её с санитарным поездом, направляющимся на Оренбург. Старушка принялась было убеждать Галю не делать этого, не подвергать себя опасности поездки под Оренбург, где поезд могут захватить казаки, и тогда молодой Гале конец. Но Галя при словах о казаках воодушевилась, сказала, что она — казачка, и если поезд захватят казаки, то не только она сама спасётся, но и спасёт тех, с кем будет ехать. Старушка-доктор с испугом посмотрела на Галю и, попятившись, сказала: «Ну ладно, Бог с тобой, поедем, моя милая красавица».

Обрадованная Галя схватила чемодан и влетела в вагон, заставленный ящиками с медикаментами, около которых суетились доктор-старик и пожилая санитарка. Старушка провела Галю в вагон, представила коллегам как свою знакомую.

Удивлённый доктор попросил Галю пройти вперёд.

— Нина Николаевна, — обратился он к коллеге, — давно вам знакома эта молодая женщина?

— Да... Не так уж давно... Но я её хорошо знаю, — сказала та с запинкой, покраснев и отвернувшись.

— То-то же, а незнакомых брать с собой на территорию военных действий опасно вообще, за это могут жестоко наказать, — заметил доктор. — Вы откуда же и куда едете, если это не секрет? — спросил он Галю.

Та укладывала что-то в чемодане, без замешательства ответила:

— Я калужская, а замужем за оренбургским, еду к нему. Никак не могла дожждаться спокойного времени. Была у родителей и никаких известий не имела о муже, а теперь решила при любых условиях, любой ценой добраться до Оренбурга. Я сейчас готова пойти на смерть, но ехать в Оренбург.

— А не казак ли ваш муж? — робко шёпотом спросил доктор.

— Да, мой муж казак, из молодых казаков, но его знают многие, так что, если встретятся нам казаки, я беру на себя сохранить вас от любых неприятностей, — улыбаясь, с воодушевлением говорила Галя.

Доктор не знал, что делать: избавиться от опасной спутницы, попросив её поскорее покинуть вагон, или радушно принять на случай защиты от этих степных пиратов-казаков, способных напасть на поезд в любую минуту и порубить головы пассажирам...

Видя колебания доктора, Нина Николаевна поспешила вмешаться, расхваливая Галю как давнюю знакомую. Все согласились взять попутчицу. В этот день Галя была как никогда весёлая, жизнерадостная.

Отправляющиеся к Оренбургу ждали неизбежного нападения на поезд и потому были в таком настроении, будто их посылали на казнь. Но в обществе Гали все вскоре повеселели, словно опасность миновала, и ехали они не к Оренбургу, а куда-то к Москве, домой.

Поезд был из пяти вагонов: санитарного с медикаментами и обслуживанием подвижного госпиталя, одного опломбированного, вагона-теплушки и открытой платформы с двадцатью-тридцатью красноармейцами — для охраны. В двух местах платформы что-то было покрыто брезентом, там виднелись пулемёты. Пятый, самый ценный вагон, гружённый снарядами и патронами, замыкал состав — стены в нём были обиты ватой.

Поезд шёл всю ночь. К утру он достиг станции Переволоцк, где начинался район действия белоказачьих отрядов.

## 2

Галя не спала всю ночь, сидела у раскрытого окна, смотрела, как мелькают придорожные огни. Она с нетерпением ждала предстоящего дня, казалось, что в этот день она безусловно

перейдёт через какую-то грань, отделяющую одну жизнь от другой, и после полудевичьей жизни сделается семейной, замужней дамой, женой такого мужа, которого нет ни у одной женщины на свете. А главное, она должна увезти Мишу из этих кровавых мест куда-нибудь подальше, на простор мирной жизни. Она не отходила от окна, напряжённо смотрела в даль уже начавшихся казачьих степей.

Когда два года назад Галя ехала из Оренбурга в Калугу, на каждой станции можно было видеть казаков в фуражках с голубым околышем, а сейчас не видно ни одного, даже малолетних казачат. Что это за время настало? Какая грань легла между казакми? Почему их отторгнули, какие интересы скрестились у казаков с неказакми и кому это нужно? Почему их все так бранят в центральных губерниях, называют головорезами, контрреволюционерами? Нет, они не знают казаков, вот поэтому так говорят, а я их знаю значительно больше других... Так рассуждала Галя, подъезжая к станции Общей Сырт. Поезд остановился. Нина Николаевна вышла из вагона и вернулась.

— Батюшки, голубчики мои, что было на станции сегодня ночью! Казаки делали налёт на станцию, до сих пор кровь не убрана, а убитых только что прибрали. Какая бесчеловечность, Боже мой! Сейчас там







рассказывают о жестокостях, какие учинили здесь казаки.

Все испуганно насторожились. Каждый думал об Оренбурге, окружённом гнёздами казачьих отрядов. Одна Галя была спокойна, ей казалось, что при встрече с любым казаком тот сразу узнает в ней жену Михаила Веренцова, которого, по её мнению, знают все. И если ей сегодня не удастся встретиться с Михаилом, то с сестрой его она увидится обязательно. В ней всё длилось возбуждение, сердце, казалось, пело...

Поезд шёл, колёса монотонно выстукивали по стыкам рельсов, рядом с Галей сидела Нина Николаевна, она всматривалась в Галю, как будто за сутки не вполне рассмотрела её.

— Галочка, вы сегодня какая-то особенная, странная, у вас в глазах непонятная глубина. Как будто вы сегодня переходите в другой мир и радуетесь этому. Мне понятно, что вам хочется поскорее оставить нас и всю окружающую обстановку, но мне сейчас очень жаль как-то расставаться с вами, как будто я жила с вами несколько лет, так привыкла к вам. Мне кажется, мы никогда не увидимся, а я так не хочу разлуки...

Галя смотрела в одну точку, в глазах её были слёзы.

— Нина Николаевна, я сегодня, возможно, с мужем не увижусь, может, удастся встретиться с его сестрой, которая живёт

в Оренбурге, не откажите пойти со мной к ней. Мы будем очень радушно приняты, — говорила Галя и непрерывно смотрела в окно, как будто её оттуда кто вызывал. Наконец она изменила тон и задумчиво сказала:

— Нина Николаевна, если со мной что случится, не забудьте мой адрес, чтобы сообщить родителям. Я что-то сегодня чувствую такое состояние, какого не помню. Мне кажется, такое настроение бывает лишь раз в жизни, после которого уж больше не будет ничего.

Она замолчала и прижалась лбом к окну.

— Бог с вами, что вы, милая моя, такая цветущая да красавица, вы должны только начинать жить. Разве можно такие мысли допускать? Я старая, да и то мне жизнь нужна — посмотрите, какая природа кругом: зелень, цветы, всюду птицы поют, разве можно говорить о смерти? Что вы, Галочка! Вот встретите мужа, вам только радоваться теперь...

— Нина Николаевна, милая, время сейчас такое: жив человек, порхает, как птичка, а через мгновение его уже нет.

Галя прервала разговор — где-то грохнуло орудие. Покачиваясь, женщины сидели друг против друга. Доктор, прислонившись к стенке вагона, сидел на полу.

Вдруг затрещали винтовочные выстрелы, поезд остановился.

Путь впереди был разобран. Из-за пригорка показалась казачья цепь. Скачущие стреляли на скаку. Все легли на пол. Галя напряжённо смотрела в окно, стараясь разглядеть нападавших, а среди них — Веренцова. Спутники упрашивали её опуститься на пол, но она не могла этого сделать. Казачья цепь была уже недалеко, отчётливо виднелись голубые околыши на фуражках, по ним хлестали с платформы из винтовок, пулемёты пока молчали.

От волнения и напряжённого взгляда слёзы застилали у Гали глаза, она быстро их вытирала и смотрела. Вдруг ей показалось, что, направляясь к вагону, скачет Мишка. С криком: «Миша! Миша!» — Галя выбежала в тамбур, открыла входную дверь, кричала: «Миша! Миша!» — махала рукой казаку, похожему на Веренцова. Её умоляли вернуться в вагон, но она не слышала. Затащить её в вагон силой никто не решился, было опасно. Галя стояла на пороге открытой двери в белом с цветами платье, как майская бабочка, и всё звала и звала.

С платформы несколько раз кричали, подавали знак рукой, чтобы она зашла в вагон, но она не могла оторваться от места, на котором стояла, непонятная сила пригвоздила её к полу. С платформы послышались угрозы и ругань. Вдруг у Гали зазвенело в ушах и голове, глаза затянуло

красной пеленой, она попятилась и потеряла сознание, тихо упала на пол тамбура. С платформы по казачьей цепи застрочили два пулемёта. Казаки быстро развернулись и через несколько минут скрылись за пригорком. Стрельба прекратилась.

Нина Николаевна выбежала в тамбур. В большой луже крови лежала Галя. Она была мертва. Пуля вошла в правый висок и вышла выше левого уха.

Нина Николаевна упала на пол вагона и рыдала до Оренбурга, куда поезд пришёл уже вечером...

Когда гроб, соскользнув с верёвки, упал на дно могилы монастырского кладбища, Михаил Веренцов был в трёх верстах от Оренбурга...

Сбылись Галины предчувствия, её обещания. «До смерти буду стремиться к тебе», — говорила она Мишке. «Схорони меня на монастырских кладбищах...» — просила как бы шутя. «Буду умирать — буду называть твоё имя», — писала ему...

### 3

Своими налётами на железную дорогу казаки ускорили решение командования Оренбургского гарнизона ликвидировать казачьи отряды по отдельности. Отряды разбивали, а непокорные станции сжигали. Подходила очередь благословенскому отряду по-настоящему столкнуться с советскими частями.

В штабе отряда с вечера знали, что под утро готовится атака Благословенной со стороны города. Отряд стоял на левом берегу Урала, в трёх верстах от станицы. Застава донесла, что на рассвете красные силой в полтысячи кавалеристов выступили из Карачей и Кузнечного посёлка и идут цепью по направлению к Благословенной, длина цепи вёрст семь.

Быстро подали команду «по коням», «садись», и отряд в сто тридцать четыре всадника карьером выскочил из леса и пошёл к Оренбургу, рассыпаясь в цепь на ходу.

Красноармейская часть уже была видна, она шла фронтом по Меновнинскому выгону. Коней красноармейцы вели в поводу. На расстоянии версты они дали залп по казакам, те остановились, прыгнули с коней, стали отходить, ведя за собой коней.

Казаки готовились к атаке. Было приказано отходить до низа оврага, что в двух верстах от станицы. По советской цепи передавалась какая-то команда. Видимо, и там готовились атаковать. Наконец казачья цепь спустилась в намеченный овраг.

Сейчас должно случиться то, чего Мишка не испытывал никогда в жизни. Сейчас он вместе с другими бросится на противника в открытом поле, в открытом бою. Жертву ли свою, своего ли убийцу он увидит в лицо, искажённое от страха или с надменной усмешкой при

встрече с таким неопытным противником, как Мишка. Сегодня он впервые сталкивается с врагом по-настоящему, получает боевое крещение. Кому он сегодня противопоставит свою силу, лихость, ловкость и жизнь? Его Мишка увидит в тот момент, когда поединок станет неизбежным. Противник будет не иначе как из служивших людей, из фронтовиков, выдавших виды, может быть, даже казак, перешедший к красным. Стрельба со стороны красных довольно меткая, как видно, из умелых рук. У него мурашки побежали по телу. «Свернут они мне вязы, их мать. Ей-богу, свернут», — подумал он.

Цепь противника была хорошо построена, ровной линией и точным интервалом. Отчётливо было слышно, как там происходила какая-то переключка по цепи, вероятно, передавалась команда или напутствие. После выстрела со стороны противника, звук которого походил на хлыст большого кнута, сейчас же летела пуля над головой или резала землю, не долетая, и со страшным жужжанием какого-то смертоносного шмеля перелетала рикошетом через голову... Конь Мишки строго поднимал уши, вертел головой, оглядывался и теребил зубами за рукав рубашки, как бы просил поскорее уехать домой, в станицу, видную как на ладони.

Отступая, люди спугивали тьму комаров, мошек, слепней

— они вились над животными и людьми, жая и кусая. Не обращая внимания на жужжание пуль, жаворонки не умолкали, иногда вылетали из-под самых ног и тут же скрывались в ковчеге. Птицы пели и порхали над головами. Майская трава была в самом расцвете. Ковыль-космач, резун-острец и пырей, как море, волновались под ярким солнцем на небольшом ветерке.

Сердце сжималось в крепкий, гнущий комок, левая сторона груди болела, а лёгкие не могли набрать воздуха, их как будто сдавило клещами — так тяжело было на душе. Радость степной жизни вокруг, порханье и щебетанье птиц ещё больше щемили сердце и повергали в грусть. Не чувствовалось зноя, как будто не грело солнце, тело била дрожь от неведомого холода. В дни радостные, счастливые тяжелее ощущается приближение смерти, чем в дни скорбные, в дни несчастья и обиды.

Господи, как хорошо было тогда, в день объезда поля с Галей! Или это был сон? Тогда была осень — ни одного зелёного кустика, ни одной птицы, но настроение бурлило, прорывалось наружу: сухая ветка, колючка, польнь — свежо пахли и вызывали радость. Оренбург, хорошо видный с горы, рождал такое чувство, как будто город видел их, звал к себе и предлагал им радость. Хотелось скакать, смеяться, они были самыми счастливыми в мире. А сейчас, Боже

мой, что случилось? Что за поле? Что за трава? Что за весна? Даже цветы не пахнут, жаворонки вызывают только слёзы. Даже диск солнца совершенно мутный, на него можно смотреть затуманенными тёмной печалью глазами, не моргая. Бывало, едешь к станице, всё кажется: слишком медленно идёт конь, хочется спрыгнуть с телеги и бежать скорее вперёд, а сейчас... вот станица недалеко, а идти туда не хочется, как будто там нет отца и матери, нет родных, а есть только враги. Сейчас хочется впрыгнуть на коня и во весь дух скакать мимо дома, прямо на киргизскую сторону, дальше, чтобы не возвращаться сюда никогда...

На дне рокового оврага раздалась команда: «Садись!», а вслед за этой командой закричали по цепи: «Шашки вон, готовься к атаке!»

Красноармейскую цепь не видно, её скрывает огромный бугор, отделяющий овраг от равнины. В последний раз больно сжало сердце, а потом, как будто клещи разжались, и на душе стало весело и легко, как скорбящему перед смертью делается легче. На мгновение Мишка вспомнил Галю, вздохнул и подумал: «Э-э-э, убьют, так убьют, всё равно едва ли удастся с ней увидеться из-за этих чертей большевиков». Он крепко сжал зубы, в нём полыхнула ненависть к красным.

В центре казачьей цепи вперёд выскочил начальник отряда Скрипников, он вертел над

головой обнажённым клинком и что-то пронзительно кричал. Во многих местах из-за бугра, перед самым носом показалась цепь красных. Кавалеристы беспечно наступали, полагая, что казаки будут отходить до станицы, но когда поднялись на бугор перед оврагом, увидели, что те сейчас выскочат в атаку. Командование красных только что получило донесение о том, что с юга из глубины степей карьером приближаются две большие группы казаков, грозящие ударить во фланг и тыл. Спешно было приказано отходить. Казаки с криками «ура» рванулись вперёд, выскочили из оврага и грянули на неприятеля. Конь Мишки взвился на дыбы, впрыгнул на метровый яр и понёсся вперёд. Мишка услышал сзади голос казака-фронтовика Колесникова:

— Мишка, обожди, сейчас пулемёт тебя срежет.

Справа за бугром остановилась впряжённая в четвёрку лошадей двуколка с пулемётом «максим» и тремя пулемётчиками, они торопливо налаживали пулемётную лепту.

Мишка остановился, заметил отсутствие Митьки, с которым договорился всегда быть вместе. Теперь он рассчитывал на Колесникова, но и тот поскакал куда-то в сторону по распоряжению взводного. Митька был в центре отряда около начальника, вызванный туда перед атакой.

Мишка стегнул коня и поскакал к пулемётной двуколке.

Рядом с ним скакали люди, смотреть на них было некогда. Внезапно засыпала пулемётная дробь. От резкой заглушающей стрельбы стало больно в ушах. Пули просвистели выше головы, потом в нескольких шагах спереди коней взрыли землю, подняли клубы пыли вместе с клочками срезанной травы, опять просвистели над головами, потом — недолёт. Так менялось несколько раз. Счастливы атакующие, попавшие на плохого, растерявшегося пулемётчика. Наконец капризный «максим» выкинул какой-то фокус, дал задержку, которой пулемётчик устранить не мог. Все трое спрыгнули с двуколки и побежали за своими.

В цепи красных, растянутой на семь вёрст, не могли быстро передать команды к отходу. В начале схватки в цепи почти не слышали команд младших командиров — усугубив тяжёлое положение, рядовых предоставили самим себе, хотя они храбро сражались в одиночку.

От командования красных нужно было одно: строжайшим запретом удержать кавалерию на земле, не разрешать садиться на коней и, подпустив врага на сотню шагов, встретить казачью атаку залпом. Едва ли кто из нападавших остался бы не поражённым.

Когда казаки пошли в атаку, кавалеристы стали вскакивать на коней, заворачивая назад, некоторым мешали метавшиеся в испуге кони, когда казаки врезались в

цепь, у других кони вырвались во время посадки, и их пешие хозяева бежали за ними. Казаки окружили пеших кавалеристов. Всё смешалось, несло сплошным круговоротом к городу.

Щёголев на своём коне-аварчике, сером в яблоках — тот самый Щёголев, взявший приз за уколы пикой на состязании восьми казачьих полков в Гельсингфорсе, — носился вдоль фронта, ястребом налетал на жертвы, нанося неумолимые, губительные удары клинком. Он знал все маневры в конной атаке. Не одна немецкая каска ржавела на полях Латвии на участке Рига — Двинск, где оперировал восьмой полк оренбургских казаков в 1917 году, переброшенный туда из Финляндии, — хозяева этих касок встретились со Щёголевым...

Отбиваясь, красноармейцы проявляли завидную выучку: выбитые из седла, они хватали винтовку, стреляя в упор, бежали дальше.

Вот семнадцатилетний неопытный казак Митя, подняв на всю руку клинок, наскакивает на пешего, вот сейчас удар упадёт на голову врага, но тот круто поворачивается, стреляет молодому казаку в живот. Пуля вылетает высоко в спине, вырывая полспины гимнастёрки. Митя, умирая, сваливается с коня...

Крики «ура», стоны, ругань — всё смешалось в общий гам. Скачут кони без седоков, вот испугавшийся конь, наступая

задними ногами, тащит окровавленный труп своего хозяина, завязшего в стремени...

Мишка проскочил пулемётную двуколку. Впереди один за другим — с винтовкой в руке — бежали три пулемётчика. Мишка направился к ним, не снимая из-за плеча винтовку, на мгновение взглянув на того, кто скачет рядом, и увидел своего соседа. Фёдор был намного старше Мишки, не служил по семейным обстоятельствам, был весельчак и балагур, но не обстрелянный. Сейчас, в первом для них бою, Фёдор и Мишка насккали на красного пулемётчика, тот перекружился, выстрелил и опять побежал, промазав. Казаки налетели опять, пулемётчик бросил гранату под коня Фёдора, тот спрыгнул с падающего коня. Спрыгнул и Мишка. Фёдор не успел опустить клинок на голову пулемётчика — упал к его ногам, сражённый выстрелом сунутой почти в самую грудь винтовки. Мишка взмахнул клинком, держа в левой руке повод лошади, — красноармеец скользнул стволом винтовки по его груди и выстрелил. Пуля прошла между грудью и рукой и пронзила Мишкиного коня, который тут же упал и сделался мокрым, как искупанный, дрожа всем телом. Клинком Мишка не достал пулемётчика, но тот свалился на землю, широко развёл руки, принимая в объятия смерть. Клинок проскакавшего мимо казака глупо вьелся в левую сторону его

лба, лицо залило кровью и мозгом. У Мишки сердце сжалось от боли, когда он увидел корчившегося пулемётчика.

Всё же какая-то обязанность, какой-то инстинкт тянули его вперёд и вперёд вслед за товарищами. Он бросил клинок в ножны, побежал к брошенному неприятелю коню. Тот в нескольких шагах щипал траву и торопливо с хрустом ел. Подбегая к коню, Мишка перешёл на шаг и стал подзывать незнакомое животное. Конь сначала недоверчиво, а потом дружелюбно взглянул на Мишку и позволил взять за повод своей уздечки. Мишка впрыгнул в седло и во весь карьер поскакал вслед мешавшимся и скакавшим по направлению к городу своим и красным. Он на скаку сорвал с себя винтовку, взял её посередине и попугивал ею своего коня.

Впервые в жизни ему пришлось сидеть в кавалерийском, а не казачьем седле. Он скакал с болтавшимися ногами, без помощи стремян, неимоверно прыгал взад и вперёд по седлу, которое казалось и длинным, и широким без точки опоры — передней луки. Он рисковал каждый миг свалиться с коня.

Он скоро догнал свою цепь, которая уже смешалась с цепью красных и много потеряла из своего состава, стала отставать: пронёсся слух, что впереди залегла пехота красных и ожидает казаков. Мишка проскакал через казачью цепь, устремился за двумя приотставшими красноармейцами.

Крика, пронёсшегося по казачьей цепи «стой», «назад», он не слышал, проскочил далеко вперёд, за что чуть не поплатился головой: к нему повернули два кавалериста, но Мишку их поведение встревожило, он круто повернул коня и в несколько секунд оказался ближе к своим, чем к противнику.

Когда из-за близости города преследование прекратилось, с левого казачьего фланга из глубины степных оврагов и возвышенностей во весь карьер вынеслись казачьи отряды Бобряшова и Пущаева Красноярской и Перовской станиц. Они спешили помочь благословенцам ударом в правый фланг красных, и, если бы те не отступили из опасной зоны, то были бы прижаты к Уралу и уничтожены. «Гости» повели свои отряды домой.

Благословенский отряд въезжал в станицу под плач об убитых и тяжело раненных. Хоронили вечером на площади около церковной ограды. Красноармейцев, собранных в степи, зарыли далеко от станицы, вниз по левому берегу Урала.

Каждый знал, что это наступление красных — только подготовка к настоящему наступлению. Каждый стоял на краю могилы, шаг — и похоронят его самого...

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

### 1

Оставив Оренбург, Красная армия заняла позиции на участках



Актюбинск — Орск. Эти города осаждались белыми настолько слабо, что коммуникации между Орском и Актюбинском почти не нарушались, несмотря на то что Орск был окружён белыми, кроме узкой полосы вдоль дороги в Актюбинск. Эта дорога служила единственным сообщением с Актюбинском, по ней Орский гарнизон получал подкрепление и снабжение.

Вступившие в брошенный без боя Оренбург белые беспечно почили на «лаврах победы». Командование уверилось в том, что большевики побеждены и ушли куда глаза глядят, а если откуда ещё и не ушли, их прогонит кто-нибудь, вроде чехов или союзников. Теперь на фронте едва ли есть что делать. Оттуда, где большевики остановились, пусть прогоняют их местные жители, если не хотят советской власти, наше дело — сторона. Рядовому составу война надоела ещё на Германском фронте. Казаки кричали: «На кой чёрт нам нужен какой-то Актюбинск? Он не казачий город. Вон взять Орск — и по домам, а Ахтюбу пусть мужики защищают!»

Разъяснять цели и необходимость борьбы с большевиками командование белых никогда не думало, но едва ли оно знало, с чего начать. Казаки нередко без стеснения бросали в лицо начальству: «Зачем воевать? Будем нейтральны, давайте сделаем мир без анекдотов и кантрабуциев и уйдём домой. Уж надоело

воевать, што, в самом деле, когда же с женой-то спать?»

Идеологически тупое и политически слепое офицерство само, в большинстве своём, разделяло эту точку зрения не только в разговоре с рядовыми, но и в душе.

Кавалерийская часть Оренбургского советского гарнизона под командованием бывшего казачьего офицера Николая Каширина при эвакуации из Оренбурга была направлена в глубокий рейд через Башкирию: Сакмарская станица — Дедово-Исаево — Красная Мечеть — Стерлитамак — Уфа — правый берег Волги — на соединение с Красной армией.

Для преследования этой колонны из занятого белыми Оренбурга вышли казачьи отряды Богданова, Скрипникова, Шейна и другие. Но преследование было так пассивно, что Каширин прошёл всю Башкирию и Самарскую губернию до Волги и перешёл через Волгу, не встретив серьёзного сопротивления, кроме незначительных стычек.

Отряд Скрипникова повернул назад от Красной Мечети, отойдя от Оренбурга всего несколько вёрст.

— Нечего нам гнаться за ним, нечего ловить, поймают и без нас, — махнув рукой, сказали казаки.

Вскоре вернулся и Богданов, устремившийся по ложной дороге и потерявший надежду настигнуть противника.

Шейн активнее преследовал Каширина, но, имея незначительные силы, решительного боя дать не мог.

2

27 июля отряд, в котором был Мишка, погрузили в товарные вагоны и отправили на Орский фронт. Родные никого провожать не приехали, не знали об этой внезапной отправке. Расквартированный в Форштадте отряд сняли с квартир ночью.

Уже через сутки второй степной партизанский отряд подъезжал к позиции около резервной части Первого Левобережного полка. Впереди, в версте — горный хребет с позицией белых; дальше на полторы версты — второй хребет, повыше, его оседлал Орский гарнизон. В горных утёсах у обоих противников батареи. На юго-запад, изгибаясь по равнине, бежит дорога на станцию Хабарную. Прижавшаяся боком к Губерлинским горам, она видна отсюда. Мишке захотелось побыть в ней, рассмотреть вблизи...

На позиции непрерывно хлопали ружейные и пулемётные выстрелы. Звуки их в горах раздавались так, будто кровельщики крыли огромную крышу жестью и били по ней большими железными молотками.

В три часа дня цепь белых была снята с позиции. Отряд отвели в тыл версты на три, чтобы отдохнуть и закусить. На весь фронт в две версты оставили три поста по три человека.

На один из постов, правого фланговый, ничем не защищённый, самый опасный назначили Мишку с двумя казаками.

Тройка поста оставила одного казака коноводом, Мишка с другим заняли наблюдательный пост на оставленной позиции правого фланга. Справа местность понижалась, уходила и расплывалась в отдельные бугры, потом в равнину до горизонта, сзади под горой ничего не было видно, дальше где-то лежала дорога на Актюбинск.

От напряжения или бессонной ночи сердце у Мишки сжимало в тиски, казалось, оно не в состоянии расширяться, и кровь будто бы застыла.

— Наверное, красные спать легли, ни одного выстрела по постам не дали, — вяло сказал он другу.

Тот подавленно промолчал.

Но красные не спали, готовясь атаковать посты. Командир эскадрона вызвал к себе Подольского.

— Товарищ Подольский, — сказал он, — поручаю вам боевую задачу: возьмите человек двадцать, сделайте глубокий обход слева и атакуйте посты белых с правого их фланга. Белые ушли в тыл, позицию очистили, оставили лишь три поста по два человека пешими и по одному, очевидно, коноводу. Посты эти нужно снять и овладеть их батареей и пулемётами, что находятся около Урала. Для атаки батарей я потом дам помощь с фронта.

— Есть, товарищ командир! — сказал Подольский.

Отряд кавалерийской части в двадцать три человека галопом двинулся по Актюбинской дороге в обход позиции белых. Невдалеке они встретили разведку белых в шесть человек Левобережного полка, обстреляли её и отбросили далеко назад, направляясь галопом на посты отряда.

— Сергей! — поднял голову и обратился к другу Мишка, — какая может быть там стрельба, чуть не сзади нас справа?

Сергей потянулся на траве, махнул рукой:

— Да теперь везде стреляют. И в собак стреляют, и в воробьёв, подь они к чёрту, — успокаивая сам себя, возразил тот. — Ты вот давай расскажи какую-нибудь чертовщину, а то скучно, да и спать хочется. Большевики спят, ни одного не видно, все попрятались.

— Как бы нам здесь не рассказали какую-нибудь сказку, что все места зачешутся, — задумчиво-предостерегающе сказал Мишка...

Вдруг чуть не сзади и почти рядом хлопнул выстрел, за ним второй, третий. Атакующая группа конных красноармейцев во весь карьер неслась на них с фланга. Заметив их коновода в сотне шагов под горой, на скаку стреляла в него. Рассыпавшаяся лавой группа одним крылом уже подступала к коноводу, вторым — к посту. Когда Мишка

и Сергей вскочили на ноги, то красноармейцы, увидев казаков, завернули своё левое крыло от коновода и устремились в сторону поста, кроме троих левофланговых, преследующих коновода, поскакавшего в тыл.

Вскочивший на ноги Мишка забросил на плечо ремень винтовки, надеясь на подачу коней коноводом, рванулся было в его сторону, за ним несколько прыжков сделал с винтовкой наперевес Сергей. Тут же они увидели поскакавшего в тыл коновода, надежды больше не было. Цепь противника уже была в двухстах шагах, красноармейцы кричали: «Сдавайтесь! Бросайте винтовки!» — дальше следовала ругань по адресу казаков.

Мишка сорвал с плеча винтовку, фуражка слетела с головы, покатила по траве.

— Стой, Сергей! — закричал он не своим голосом и щёлкнул затвором на боевой взвод.

Сергей остановился, встали в ряд, ждали противника, — чтобы бить в упор. Крики и ругательства со стороны атакующих продолжались. Лавина конных была уже в пятидесяти, тридцати шагах. Наконец противник в двадцати шагах. Грянули два выстрела, один всадник упал, второй, сбоченясь на седле, описал большой круг, в сторону прыгнул с коня, присел на землю, держал коня за повод. Остальные, не обращая внимания, охватывали казаков. После выстрелов Сергей быстро пустился под гору,

направляясь в тыл, Мишка же побежал по горному хребту ко второму посту.

Красноармеец, вылетевший вперёд и догнавший Мишку первым, махнул клинком, но головы не достал, проскакал мимо, делая вольт, чтобы налететь снова. Мишка перекружился несколько раз с винтовкой, красноармейцы взяли его в кольцо. Кони их вставляли на дыбы, не подходили к пешему с винтовкой, клинком разить нельзя — нападающие толпились, мешая друг другу. Никто из них не сообразил спрыгнуть с коня и выстрелить в Мишку в упор. Вертясь волчком, он был трудноуязвим для выстрелов с коней, он наставлял ствол в одного, в другого, в третьего, а стрелял на выбор, вырывался из расступившегося круга, бежал несколько шагов, пока щёлкнет затвором, заряжая следующий патрон, и опять останавливался, кружился с винтовкой, охваченный кольцом всадников.

Мишка уже чувствовал, что смерть дохнула ему в лицо, она где-то близко, рядом, пытается захватить его в свои объятья, но, вертясь волчком, он не даёт.

Крутившиеся вокруг него красноармейцы стреляли, опасаясь убить своего рикошетом пули: Мишка пользовался случаем, стрелял и снова бежал. Всадник, догнавший Мишку первым, решил, что клинком действовать бесполезно, бросил клинок в ножны и снял винтовку, он уже

несколько раз выстрелил, но с коня было трудно попасть в метавшегося из стороны в сторону человека. Мишка ещё раз вырвался из круга, тот же всадник заскакал ему наперёд, преградил дорогу и наставил винтовку в Мишкину грудь, но не успел — Мишка выстрелил первым. Красноармейца будто ветром сдуло с коня.

Второй, засакавший спереди, был старший группы. Мишка успел щёлкнуть затвором и скинул винтовку на уровень живота целившегося в него начальника атакующей группы Подольского.

Мишка нажал на спусковой крючок, курок щёлкнул, но выстрела не последовало. Оказалось, что Мишка щёлкнул затвором в шестой раз. Через мгновение после Мишкиной осечки Подольский нажал на спуск, грянул выстрел, резко, до щемящей боли кольнуло Мишку в спину, ему показалось, что его кольнуло в спину штыком или концом пашки, но это вошедшая у центра груди пуля, пробив лёгкое, вышла сзади и вырвала кусок тела в два квадратных вершка.

Мишка захрипел, в груди у него забулькало, заклокотало, когда он потянул в себя воздух, а когда выдохнул, горячая струя крови хлынула изо рта и носа. Он ещё несколько мгновений продолжал кружиться, плевал кровь на обе стороны. Он уже понял, что в винтовке нет больше патрона, заряжать некогда. Он

злил, скрипел зубами, в бес- сильной злобе плевал кровь, он был весь окровавлен, как бык на бойне, которому резаки забыли нанести смертельный удар в лев — беспомощную впадину внизу затылка, а лишь перехватили горло. Теперь жертва в борьбе за жизнь то нападает на убийцу, то пытается укрыться от него.

Мишка остался один и уже не прорывался из круга, а круг всадников расступился и отско- чил в сторону на несколько са- жений. Мишка заключил, что откуда-то ломаются казаки. Он стоял, шатаясь, смотрел в сто- рону своего тыла, откуда могут подоспеть свои. Под горой, на расстоянии двухсот сажен, по направлению к Мишке скакали трое, в них он узнал преследо- вавших коновода. В этот момент Сергей уже сравнялся с всадни- ками, один из них повернул на Сергея, тот приостановился, раз- дался выстрел — красноармеец упал, его нога застряла в стре- мени, конь в карьер потащил хозя- ина в гору, к своим. Двое других продолжали скакать на Мишку. Вслед за ними показалась боль- шая лавина конных людей, в них Мишка ждал выручку. Он торо- пливо дрожащими, обессилен- ными руками вставил обойму. Но красноармейцы не доскака- ли до него, увидев сзади каза- ков, повернули вправо, к своим. Справа севший на коней второй пост в три человека также кар-ьером шёл к Мишке. Задержавшись на атаке первого поста,

команда красноармейцев дала возможность второму и треть- ему постам получить коноводов, сесть на коней и быть готовыми к отражению атаки.

Преследующие коновода Мишкиного поста три красноар- мейца увлеклись погоней и чуть не заскакали в распоряжение белых на обеденном отдыхе. За- скакавший в расположение отря- да коновод закричал во всё горло одному из взводных, ближайше- му родственнику Мишки:

— Мишку с Сергеем окружи- ли красные, их теперь уже, на- верно, изрубили!

Взводный прыгнул на коня, выхватил клинок:

— Взво-о-од, за-а мно-о-ой! — поскакал во всю мочь.

Из разных взводов садились на коней, ломили за взводными.

Мишка еле стоял на ногах, плевал и глотал кровь, красные мухи летали в глазах, дневной свет всё больше становился жёл- тым, как будто красной пеленой затягивало глаза.

Справа раздался голос: «Миша! Изрубили они тебя, изу- вечили!» — чёрно матерясь, ска- кали к нему казаки.

Красноармейцы отступили, забрав своих раненых.

### 3

Доставленный на перевязоч- ный пункт, Мишка уже ниче- го не видел, а потом и потерял сознание. Кровь проникла по телу в сапоги и там хлюпала, как вода. На минуту он пришёл в

себя, попросил пить. Откуда-то подсказал брат Пётр. Он прыгнул с коня, подошёл вплотную, уронил голову на грудь, ничего не видевшими от слёз глазами смотрел куда-то, как невменяемый. Два фельдшера, делавшие перевязку, не разрешали брату беспокоить умирающего.

На вопрос Петра о последствиях такого ранения один из них ответил, безнадежно махнув рукой:

— До вечера, самое большое — до утра, — сказал тихо, чтобы не слышал больной. Но второй фельдшер, военнопленный австриец, возразил:

— Нишаво, два, тыры молнат (месяца), — указал он на небо, — потом ваша брат ишо скашит на конь.

Мишка лежал с жёлтым лицом, в крови и грязи, грудь от рук до пояса огибал огромный бинт, под которым толстым жгутом бугрилась вата, сквозь неё уже просачивалась неугомонная кровь. На руках и в волосах головы — тоже кровь, смешанная с грязью. Мишка дышал слабо, как при пониженной температуре, глубоко дышать не давали всё больше пухнувшие лёгкие, причина ужасную боль при дыхании.

Пётр стоял над полутрупом обезображенного брата, — посеревший, измождённый тоской, у него тихо катились слёзы. Он был уверен, что в последний раз смотрит на Мишку.

— Ну как же я теперь поеду домой без него? — шептал,

не замечая этого, Пётр. — Что скажет Митя? Что скажут отец и мать? Не слышать мне теперь его песен, игры на гармонии, с кем делить горе и радости? Отец и мать теперь с ума сойдут или умрут от горя.

Пётр сел на чьё-то лежащее седло, слёзы лились потоком, он не успевал их вытирать.

Тем временем безобразная башкирская телега на деревянных кривых колёсах подъехала, чтобы доставить раненого в станицу Хабаровую.

Когда Мишку стали класть на телегу, у него откинулась не прибинтованная рука. Пётр подошёл и вытер кровь, смешанную с грязью, с Мишкиной руки. Брат не знал, что ещё сделать, чтобы ему стало легче.

Отъехавшая телега тряхнула Мишку на каменистой дороге. Он очнулся от резанувшей его боли, кровь опять пошла горлом и носом. Кучер — местный башкир, жалея раненого, несколько раз останавливался, подолгу стоял, ехал и опять останавливался.

По камням трясло и кидало во все стороны. Надвигался вечер, кучер стал спешить, чтобы засветло доехать до Хабаровой и сдать больного, пока он ещё живой.

Приняв на себя удары с востока, запада и севера, Орский гарнизон не оставлял города в течение более двух месяцев и не отошёл к Акпюбинску — не потому,

что не мог этого сделать, окружённый белыми, — не хотел этого до поры до времени. Он в любое время мог разорвать кольцо белых и отойти на Актюбинск. И, наоборот, белые в течение всего этого времени не взяли Орска не потому, что не хотели, а не могли взять — по нерешительности и незнанию тактики командования. Рядовые и младший командный состав бывших фронтовиков и мобилизованного молодняка — казачества шли в бой без желания, при малейшем толчке красных бросали поле боя и уходили кто куда.

Окружив Орск со всех сторон, белые топтались в нерешительности, хотя имели достаточное соотношение сил и вооружения, чтобы атаковать город и выбить из него малочисленный гарнизон. А в то же время Орский гарнизон делал смелые вылазки, и всякий раз белые откатывались далеко за пределы своей позиции...

Это случилось вскоре после ранения Мишки. Чтобы открыть дорогу Орск—Актюбинск, нужную в этот день для перевозок продовольствия и оружия, Орский гарнизон надавил на позиции белых и стал теснить их — Первый Левобережный полк и второй отряд — к станице Хабарной. Советская кавалерия обошла посты казаков правого фланга в несколько человек и прижала их к свежей пашне. Погружаясь в мягкую пахоту, казачьи кони потеряли половину скорости.

Красные во весь карьер ломили наперерез, расстояние сокращалось с каждой секундой. Кроме двоих, казаки сошли на твёрдую между и проскочили мимо сбоку летевших на них с клинками кавалеристов. Бобылёв и Ковалёв были смяты. Первого зарубили тут же, его станичники нашли после и похоронили. Ковалёва же обезоружили, кавалерист взял повод его коня, второй погнал сзади, и все поскакали в свой тыл, к Орску.

Родной брат Ковалёва видел издали, как младшего брали в плен и уводили. Старший метался, как на костре, несколько раз спрыгивал с коня, прицеливался и стрелял в группу, уводящую брата, — но было далеко, пули хлопались в землю, поднимая пыль далеко от цели. В бессильном отчаянье он плакал, снова впрыгивал на коня и опять соскакивал на землю, снова стрелял. Теперь ему было безразлично, кого он мог убить в этой толпе — пусть даже своего брата...

Когда нападавшие скрылись за бугром, где были их главные силы, Ковалёв-старший долго прислушивался ко всякому звуку, тем более к выстрелу. Он ждал залпа за горой — это означало бы расстрел брата. Но ни выстрела, ни залпа не было. Ковалёва-меньшого не расстреляли, но никто больше не видел его никогда...

Орский гарнизон, тесня белых на запад, не стал уходить далеко от города. Из Хабарной



уже потянулись отступающие — пешие и конные, но красные туда не пошли, отведя свою ударную конную группу на прежние позиции.

Было ясное тёплое июльское утро. Солнце взошло, разливая прозрачный свет по каменистым отрогам Уральского хребта — Губерлинским горам. Лучи солнца устремлялись, пронизывая с конца в конец огромную долину, где приютилась станица Хабарная.

Яркие утренние лучи лились и в открытую дверь комнаты временного военного лазарета. Со двора в дом и обратно сновали женщины в белых, как снег, халатах и таких же косынках с красными крестами на лбу и груди. От них исходил запах духов. Их красивые, тронутые загаром лица, туго перетянутые в талиях стройные фигуры с резко подчёркнутой грудью притягивали пристальные взоры молодых раненых казаков.

Около лазарета стояли тринадцать подвод, доставленные атаманом для отправки раненых на станцию Сары. С кнутом на плечах, с нетерпением ожидающие погрузки раненых, ходили чёрные, грязные, не спавшие ночь возницы — русские и башкиры. Все они настаивали на скорейшей погрузке, чтобы до обеда отвезти и вернуться к молотье, пользуясь хорошей погодой. Они куда-то спешили, о чём-то заботились, — только не о раненых, судьба которых

им была безразлична, они были просто обуза, отрыв от работы в эту горячую пору.

С востока доносились выстрелы, там лилась кровь. Там ходили друг на друга в атаку, разили друг друга. А неподалёку такие же люди — тоже мучились без сна, голодными возили снопы, молотили хлеб, ссыпали в амбары. Воображали богатство — в результате труда, а благо жизни — в результате богатства...

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### 1

Мишка очнулся, когда солнце поднялось из-за гор. Солнечный свет ломился в двери, разливался по всей комнате, действуя на Мишку возбуждающе и радостно. Никогда он не испытывал такой радости, даже в объятьях Гали, как сейчас, в объятьях солнечных лучей этого тёплого июльского утра. Он в полном сознании отчётливо представлял, какая опасность грозила ему вчера, а теперь она ему не угрожает, он будет выздоравливать. Он сделал всё, что мог бы с трудом сделать в его положении самый матерый, закалённый в боях, бесстрашный фронтовик. Он не опозорил звание казака, не опозорил свой отряд, не опозорил Веренцовых. Ему будут завидовать недруги, которым хочется, чтобы Мишка умер или остался калекой.

«Но чем же всё-таки кончится вся эта музыка, трудно сказать, — думал он, — ведь дышать-то почти нельзя, да и повернуться — тоже, как будто шомпол проглотил. Вот как ещё больше распухнут лёгкие, то и ноги придётся протянуть, на радость недругам. Ведь у счастливых всегда много завистливых. А где зависть, там и ненависть...»

— Груша, Груша, иди сюда! — кричала со двора подруге заглянувшая в дверь сестра. — Наш герой-то проснулся. У него очень хороший вид! — Семенила к лежащему на полу Мишке дама в белоснежной одежде. Она присела на полу, потянулась через Мишку, чтобы пощупать пульс.

Мишке захотелось полной грудью вдохнуть запах духов, но лёгкие были обмотаны какой-то упругой резиной и не расширились.

— Ну, как вы себя чувствуете, молодой человек? — спросила сестра. Подошла вторая, тоже присела рядом.

Мишка тихо сказал:

— Да вот вчера-то как будто лучше было, а сейчас все места болят. Добавили, что ли, вы мне здесь за ночь-то, пока я спал. Теперь и грудь болит, и спина болит, и руки, всё болит. А внутри — как будто кол забитый.

Сёстры смеялись, уверяли, что всё пройдёт.

Мишка покосил глаза и залился румянцем, улыбнулся, отвернув голову в другую сторону.

— Что с вами, что вы смеётесь? — спросила сестра.

— Я ничего, так, вспомнил кое-что, — ответил уклончиво Мишка, подумав: «Ну как же не смеяться, ведь ты села-то как, проклятая, если ещё немного повернёшься, то уж и не знаю, что делать, подняться-то не могу».

Сестра быстро разрезала на груди больного бинт вместе с ватой и стала отдирать прилипшую марлю, что вызвало острую, нестерпимую боль.

В комнату вошёл приехавший из отряда Вася Тырсин. Увидев Мишку живым и в памяти, он чуть не бросился Мишке на грудь.

— Мишка, ты — герой, мы, все станичники, признаём это. Таким и только таким должен быть русский, да ещё казак, от тебя только этого и можно было ожидать.

— Геройства, Вася, тут никакого нет с моей стороны. Если бы я на них напал, один на всех, то — герой, а то я вынужден был защищаться, хорошо зная, что плен — это страшная, мучительная смерть, к этому уж привыкли и мы, и они. Другое дело, что не растерялся. Видел перед глазами смерть, а дрался, как на улице с товарищами. А большевиков я не осуждаю, если бы даже и убили меня. Им тоже не оставалось ничего другого, как только убить меня поскорее, на то война. Я теперь век буду знать, что кавалеристу с пешим драться огнестрельным оружием нельзя.

Когда пехота бежит с винтовками от кавалерии, то они просто дураки и трусы. Одному пехотинцу с пятью конными можно...

Мишка прервал разговор. Вошедшие сестра и доктор запретили больному говорить. Вася с неловкой вежливостью извинился.

Разбинтованный Мишка опять потерял сознание. Когда уехал Вася, он не помнил. А придя в сознание, услышал переключку раненых, отправляемых в Оренбург. Доктор читал: Гавриил Смородин, Андрей Межуев, Александр Новоженин, Михаил Веренцов, Дмитрий Андронов...

Водворённые на телеги раненые потянулись обозом на станцию Сары через хутор, в котором останавливался двое суток назад следовавший на фронт отряд. Там Оля, ничего не знавшая о том, что Мишка изранен до безнадёжности. Не знал и он о том, каким тяжёлым будет этот переезд...

На телегу положили одного, тогда как на других подводах было не меньше, а то и больше четырёх человек. Одна из провожающих сестёр пожелала ехать с Мишкой, взяв его под опеку. Она села в телегу, положила Мишкину спину и голову к себе на колени, чтобы тяжелораненого не трясло. Только это спасло его от смерти.

Дмитрий Веренцов выходил из Биржевой гостиницы, когда

столкнулся с приятелем, офицером Савиным.

— Дмитрий, я тебя давно ищу. У тебя на Орском фронте есть родственники Веренцовы? — спросил в волнении Савин.

— Да Веренцовых там много и два родных брата.

— Да вот я читал газету, где было сообщение о раненых на Орском фронте, — помялся Савин, — ну, там была одна фамилия Веренцовых, среди раненых, а инициалы забыл...

Расспросив, за какое число была газета, Дмитрий чуть не бегом побежал в газетный киоск. Может быть, Мишки уже нет в живых — с момента ранения прошло семь дней. Если в газете указано «Веренцов», то почему-то сердце подсказывало, что это не кто иной, как Мишка. Он прочитал: «В результате упорных боёв на Орском фронте 13 июля 1918 года наши потеряли ранеными 28 человек на участке Кумакской горы: Салов, Звёздин и т.д. К западу от Орска за 29 июля — два человека: М. Веренцов и Д. Андронов». Указывалось, что все раненые 31 июля отправлены в военный лазарет города Оренбурга.

У Дмитрия задрожали губы, он позвал извозчика и велел гнать в карьер к воротам лазарета.

Мишка пережил самые страшные дни в Оренбурге — трое суток его жизнь боролась со смертью. Он больше находился без сознания; в минуты прояснения просил сестру Катю сходить на

базар, передать с любимым человеком из Благословенной записку семье, чтобы поскорее приехали увидеться, может быть, в последний раз.

Катя с удовольствием соглашалась, приходила с базара и говорила, что всё исполнила, но родные не приехали. Записки Катя не передавала, не хотела, чтобы к Мишке приехали родные и расстроили его ещё больше, усугубили бы без того тяжёлое положение. Катя не отходила от его койки, она и сейчас сидела на табуретке рядом, несколько раз в день перебинтовывала его раны. Частые перевязки освежали их, они заметно затягивались, были сухи, не гноились.

— Миша, очень плохо держится у тебя бинт, — замечала Катя, — очень неудобное место ранения, плохо бинтовать.

— В этом-то и беда, — тихо говорил Мишка, — это большевики виноваты, — сколько их не просят, они назло делают, стреляют в такие места, которые лечить неудобно. Они даже иногда способны на то, что ранят такое место, которое женщине неприлично перевязывать.

Катя краснела, смеялась, закрывала лицо ладонями, но не уходила.

По аллее лазаретного двора Дмитрий Веренцов чуть не бежал. Проходившие мимо обращали внимание, смотрели вслед бравному казачьему офицеру. Он не обращал внимания ни на кого. На высоком крыльце

хирургии Дмитрий встретил белоснежную «милосердную» сестру. Она лукаво заглянула Дмитрию в глаза, быстрым взглядом смерила его с ног до головы и спросила:

— Чем могу служить, господин офицер?

— Извините меня, я к вам с просьбой, — сказал Дмитрий, — я обошёл уже весь лазарет, все хирургии и терапии, в вашу хирургию с последней надеждой. Не находится ли у вас на излечении молодой казак с Орского фронта Веренцов Михаил?

Сестра улыбнулась:

— Вы, вероятно, его брат?

— Да, да, брат, — подтвердил повеселевший Дмитрий. Он уже понял, что Мишка здесь и — по виду сестры — ничего опасного нет.

— Да, он здесь. Я дам вам халат и пойдём вместе. Три дня и три ночи ваш брат находился без сознания, а теперь его состояние улучшилось. Трое суток я и другая сестра дежурили около него, а теперь он уже острит над собой, над нами, мы смеёмся и рады, что спасли этого молодого человека. Девушка — няня его палаты не отходит от его койки.

Дмитрий спросил, каким оружием ранен брат и насколько опасное ранение.

— Двумя пулями: в грудь навьлет, сквозь лёгкое и в бок, а от третьей пули получил контузию головы. Вот, кажется, и всё.

— Да уж хватит и этого. Хотел бы я половину этой доли взять на себя, — шутливо-задумчиво проговорил Дмитрий.

Около двери палаты через плечо сестры Дмитрий увидел девушку, сидящую около одного из раненых. Когда Дмитрий стал подходить к койке, Катя робко попятилась к стене. Мишка жестом показал на табурет.

— Не беспокойтесь, девушка, сидите, я постараюсь вам не мешать, — мягко сказал Дмитрий.

Катя замерла на месте, ничего не ответила, с интересом рассматривая Веренцова-старшего. Дмитрий понравился ей ещё больше Мишки — и похож на него, и внушал чувство старшего, заслуженного человека.

Катя наконец догадалась предложить Дмитрию сесть.

— Ну, как всё произошло, расскажи? — поторопил Дмитрий.

Мишка рассказал о последнем столкновении на посту.

Уходя, Дмитрий попросил сестру побольше уделять внимания брату. «Сейчас же, как только выйду отсюда, пойду на базар и пошлю записку домой», — решил Митя.

### 3

Степан Андреевич и Наташа приехали на другой день рано утром. Мишке опять было очень плохо. Катя сидела около него и часто подавала пить.

Наташа утирала слёзы, ничего не говорила от волнения, даже забыла поздороваться.

Степан Андреевич гладил Мишкину не прибинтованную руку, спрашивал сына:

— Цела ли вторая-то рука?

— Целая, а куда она денется? — успокаивал Мишка, — вот только повернуться нельзя. А у этой руки сзади лопатку рассадили, вот её и привязали.

— Вчера разнёсся слух по станице, что тебя сильно изрубили, и чуть живого отправили с фронта, а куда — никто не знает. А вечером получили записку от Мити, — говорил отец. — Мы бы раньше пришли, да всё ходили по двору, искали эту самую вашу, первую, как её... не выговоришь, хреновину, штоль.

Катя в дверях расхохоталась. Мишка поправил:

— Не так, а хирургия...

### 4

Михаил поправился. Он уже выходил на высокое крыльцо хирургии, сходил в садик, сидел на скамейке. Его всегда сопровождала Катя.

В палату вбежала сестра и предупредила, чтобы все привели себя в порядок — сегодня лазарет посещают сам атаман Дутов и его начальник штаба Акулинин.

Прошло несколько минут, по коридору заметалась лазаретная прислуга, потом послышались шаги нескольких человек в сапогах, звон шпор.

По коридору двигались двое: по-медвежьи клонясь вперёд,

шёл полный, с заметным животом, чёрный и неказистый Дутов, погоня генерал-майора чернели кромкой, что означало окончание их владельцем Академии Генерального штаба. Спутник его был полной противоположностью угрюмому, молчаливому атаману, только погоня красивого, радостно-темперamentного полковника Акулинина также говорили о выпускнике Академии. Приотстав от них, волевого средоточия Оренбургского казачества, следовал молодой подъесаул с аксельбантами — адъютант войскового атамана.

В сопровождении начальника лазарета отставного полковника Канчели и толпы лазаретной прислуги Дутов вошёл в первую палату, спрашивая у всех подряд фамилию, какой станицы, на каком фронте ранен, когда и как во ранение. Ответы некоторых записывал в блокнот. Вошедший главный врач военнопленный австриец взял под козырёк, Дутов и Канчели поздоровались с ним за руку.

— Почему офицер Зайцев умер от ран? — свирепо нахмурив брови, чётко спросил Дутов. Его взгляд бросил в пот главного врача:

— Медицина, Ваше превосходительство, бессильна бороться с подобными ранениями. Господин офицер Зайцев имел ранение в живот, что считается самым опасным из ранений, кроме тех, после которых смерть наступает мгновенно, то есть сердца

и мозга, — детально разъяснял врач, но атаман уже спрашивал следующего раненого. Потом, слегка наклонив голову, повернул её к врачу:

— Если вы хоть одного ещё залечите на тот свет, едва ли кто позавидует вашему положению, — уже на ходу бросил Дутов.

Во второй палате Дутов обратил внимание на раненого казака с раздробленной челюстью и спросил его фамилию, тот сказал, но понять было нельзя. Сестра повторила фамилию раненого. Дутов покраснел, озлился:

— Ах, вон это кто! Ты тот самый самострел? — Казак часто моргал глазами, виновато отворачивал лицо. Дутов продолжал: — Большевиков испугался? Воевать не хотел? Залез в погреб — стреляться стал? Его тоже нужно вылечить, чтобы потом расстрелять, — сказал Дутов врачу.

Вся толпа заполнила Мишкину палату.

— А вот этот с Орского фронта, — сказала сестра и показала на Мишку пальцем, но Дутов не расслышал, он подошёл к первым койкам, где лежали казаки второго округа.

— Какой станицы? Где и когда ранен? — спрашивал атаман.

— Полтавской станицы, Звёздин, а этот Салов. Ранены на Кумакской горе, 20 июля, под Орском.

Адъютант тихо переспрашивал сестру о Веренцове, сестра рассказывала. Дутов и Акулинин подошли к Мишке.

— Вы Веренцов? Благословенский? — спросил атаман. Мишка кивнул головой. — До дежурной палаты дойдёте?

— Потихоньку дойду, — ответил Мишка.

Дутов сказал: «До свидания» и вышел. За ним потянулись все. Акулинин приостановился в дверях, ещё раз пристально посмотрел на Мишку, сказал Дутову что-то на иностранном языке.

— Миша, вставай, — сказала вбежавшая после ухода начальства сестра, — тебя ждут в дежурной.

Они суетились, торопливо собирали поднятого с постели Веренцова, а потом повели в дежурную комнату, где сидели лишь Дутов и Акулинин. Адъютант и Канчели ждали в коридоре.

— Сядьте, — сказал Дутов вошедшему Мишке, — вы кем доводитесь Дмитрию Степановичу Веренцову? Расскажите, что произошло в момент вашего ранения на позиции. А то у нас очень разноречивые сведения. А запрашивали вашего начальника — не ответил, — впервые за время посещения лазарета весело сказал Дутов.

Мишка равнодушно, без запальчивости рассказал меньше половины того, что было на самом деле.

Дутов записал что-то в блокнот, потом выразительно посмотрел на Мишку:

— А что это за инцидент был у вашего начальника с одним из казаков после вашей отправки во временный лазарет?

Мишка ответил, что ему это неизвестно, так как он из Хабаровской отправлен прямо в Оренбург, на фронт не заезжал.

— Дмитрий Степанович сегодня ночью выехал на Сызранский фронт со своей частью. Вы это знаете?

— Никак нет, Ваше превосходительство, мне это неизвестно, — сказал Мишка и тихо встал, поддержанный вошедшей сестрой.

Дутов и Акулинин кинули руки к козырькам в знак прощания.

Мишка поклонился и вышел.

— Что, Мишенька, сказали вам они, а вы ответили, что вам неизвестно? По выражению вашего лица я поняла, что это сообщение вас несколько огорчило, — спросила, заглядывая в глаза, старшая сестра.

Мишка не любил передавать слышанное, но, замечая отношения этой сестры с братом, решил сказать:

— Да мой брат, который, может быть, вы помните, приходил ко мне раза три, уехал сегодня на какой-то фронт.

— А разве вы не знаете, на какой фронт? На Сызранский, — сказала лукаво с залитым румянцем лицом сестра.

— А откуда же вам известно это? — спросил Мишка, подумав:



«Ну, ясно, ты его провожала, проклятая. Если бы он уехал днём, то ты могла бы и не знать, а уж если ночью, то, конечно, от тебя его утащили».

Сестра не знала, что ответить.

— Да... я и моя родственница провожали её мужа... Ну, я там случайно увидела вашего брата, — сказала она.

«Не та ли родственница, которая доводится временной женой Дмитрию?» — подумал, улыбаясь, Мишка и решил дальше путать сестру:

— А кто провожал Митю? Жена не провожала его?

Сестра живо ответила:

— Нет, Миша, жена и другие родственники не провожали. Дмитрий Степанович отправлен внезапно, никто из близких не знал. Провожал его один из друзей, некто Грачищев.

«Ничего себе, случайно она увидела его на вокзале, а все подробности знает. Спроси, сколько белых взял Дмитрий, она и это скажет», — подумал Мишка.

Подошла Катя, сестра как бы передала ей Мишку и быстро скрылась в дверях первой попавшейся палаты.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

В декабре, как и год назад, до Оренбурга стали доноситься звуки артиллерийских выстрелов. Красные части рвались к

Оренбургу и со стороны Ташкента на участке Челкар, чтобы соединиться с наступающими со стороны Самары.

В октябре с Ташкентского фронта на Самарский на виду у Оренбургского гарнизона пролетел аэроплан для связи. Куда он следовал и чей он, командование белых узнало значительно позже того, как аэроплан благополучно пролетел над всей территорией белых и приземлился в расположении советских войск. Такова была разведка белых. Разведчики и контрразведчики их числили только на бумаге — следствие того, что среди высших командиров не было ни единого душия, ни слаженности. Погоня за чинами и славой плодила интриги, подсиживания, ненависть, отсюда нередкие случаи отказа в помощи даже в критические моменты, влияющие на общий ход событий. Всякий смотрел Наполеоном... Корпус Акулинина, наступающий на Оренбург весной 1919 года со стороны Нежинской — Сакмарской, непрерывно враждовал с корпусом Жукова, наступающим со стороны Меновой двор — Павловская. Акулинин сам хотел взять Оренбург, только сам, чтобы не делить ни с кем лавры победы. Жуков, в свою очередь, хотел единолично пожинать те же лавры — потому они не подавали друг другу помощи, когда один из них вёл наступление на город, потому они так и не взяли Оренбурга,

протоптались у его стен, чтобы потом уйти в Сибирь и дальше...

Непоправимой политической глупостью белых стало и то, что командные, боевые должности занимались не по способностям, а по чинам. Иной вынес на своих плечах полный комплект действительной военной службы и всю войну 1914—1917 годов, имеет полный бант крестов за боевые заслуги, но если он «из простых», то красная цена ему не больше как прапорщик, и командует он не больше как взводом. А какой-нибудь родовитый «мамушкин сынок» с большими связями добился в тылу до есаула или выше, командует полком, гоняет младшего по должности офицера-фронтовика, не считая его за человека, не считаясь с его советами в боевой обстановке, потому что тот «из простых». Эти родовитые прямо говорили: «Как только побьём большевиков, так потребуем девальвации офицерства... Все «серяки из простых» отсеются и превратятся в рядовых или заштатных»... Так находила выход неприязнь, даже ненависть к офицерам из народа вроде Дмитрия Веренцова, вызывая в ответ понятные чувства...

Призрак большевистской опасности снова задыхал над Оренбургом в морозные ноябрьские дни 1918 года. Отчётливо слышались орудийные выстрелы по ночам, напоминая уже знакомую тревогу.

Чувствовали, осязали близость смерти, её дыхание в лицо. Не хотелось слышать выстрелов, доносившихся с фронта Ново-Сергиевка — Платовка — Гамалеевка, но его гул гипнотически приковывал к себе, все невольно к нему прислушивались. Одни — с испугом, тревогой, другие — с радужными надеждами на счастливую жизнь...

Многие спали не раздеваясь. Комнаты были не топлены, не метены, не убраны — не хотелось ничего делать, даже готовить пищу.

Встретившиеся на улице родные или знакомые старались разойтись незамеченными, чтобы избежать разговоров — разговоры казались страшными. Каждый вселял испуг, потрясал, близкий мог сообщить только жуткие новости.

Учебную стрельбу в городе запретили, она пугала власть имущих. Казаки из посёлков и станиц боялись ехать в город с продажей, чтобы не пропасть там — местные большевики и сочувствующие грозили захватить Оренбург внезапно, восстанием.

Фронт двигался как грозовая туча, от которой невозможно укрыться. Отпущенные с фронта по болезни, ранению и другим причинам казаки заливали тревогу самогоном. По три дня не топили печи, ленились ездить в лес за дровами, а если, приехав рысью из леса, и привозили немного дров, все они уходили

на самогонокурение, а если не хватало, приходилось ломать плетни, чтобы закончить опару. За сеном в поле не хотелось ехать, иногда даже готового сена с повети сбросить некогда, нужно спешить в гости.

— Чёрт с ней, с коровёшкой-то, пусть зевает во всё хайло, не пойду к ней. Она всё равно уж почти перестала доиться, а советские придут, то так и так из шкуры её вытряхнут. Пусть пока стоит, газеты читает, — говорил, еле выговаривая слова, станичник, обнявшись с другом за столом.

Жёны-казачки редко теперь возражали против кутежа мужей, не гоняли их ни поленом, ни ухватом от свата или из шинка, а смотрели на них, как смотрят на опускаемого в могилу близкого, милого. Дни пребывания мужа в стенах родного дома были сочтены — уйдёт и, может быть, навсегда...

Хозяйство и всё нажитое веками добро не только уже никогда не интересовало, не радовало — оно всё более тяготило, лучше бы этого добра не было совсем.

Изумрудами искрился снег в холодные прозрачные тихие декабрьские дни, усиливая орудийный гул с фронта Общий Сырт.

2

Мишка подъехал к воротам — он ездил в санках по делам, конь остановился, Мишка выпрыгнул

из санок и от сотрясения почувствовал боль в груди. «Как же я буду служить? Неужели в нестроевщину придётся идти?» — подумал он.

— Миша, тебя атаман звал, — сказала Наташа, когда Мишка въехал во двор. Он сделался мрачнее тучи: угроза разлуки со всеми, кого любил, угроза гибели в расцвете сил и надежд, угроза страданий и потрясений — всё встало перед ним великим призрачно-чёрным сводом. В воображении мелькали картины фронтовых ужасов. Мрачный, Михаил сел за стол...

В станичном правлении никого не было. Больных и выздоравливавших раненых, кого казался бы приказ атамана округа Бурлина о сборе всех эвакуированных с фронта по ранению или болезням или оставленных ранее по различным причинам, в станице почти не осталось. В правлении сидел лишь атаман. Осматриваясь кругом, как бы боясь кого, он вынул из папки с секретными бумагами летучку, где говорилось: «Михаилу Степановичу Веренцову с получением сего немедленно явиться лично к атаману первого округа Оренбургского казачьего войска, есаулу, господину Бурлину Дмитрию Гавриловичу, город Оренбург. 2 января 1919 года. № 42-8—11».

*(Продолжение следует)*

## ПРИМЕЧАНИЯ:

1. Кастор — сорт плотного сукна.

2. Башлыки, башлаки, большаки, чеблаки — искажённое «большевики».

3. Александр Ильич Дутов (5(17) августа 1879, Казалинск — 7 февраля 1921, Суйдун, Китай) — потомственный русский военный, герой Белого движения, атаман Оренбургского казачества, генерал-лейтенант (1919). Его детские годы прошли в Фергане, Оренбурге, Санкт-Петербурге и снова в Оренбурге.

А.И. Дутов окончил Оренбургский Неплюевский кадетский корпус в 1897 г., Николаевское кавалерийское училище в 1899 г., в чине хорунжего направлен в 1-й Оренбургский казачий полк, стоявший в Харькове.

В Санкт-Петербурге окончил курсы при Николаевском инженерном училище 1 октября 1903 г. и поступил в Академию Генштаба, однако в 1905 г. добровольцем ушёл на Русско-японскую войну, воевал в составе 2-й Маньчжурской армии, где за «отлично-усердную службу и особые труды» во время боевых действий награждён орденом Св. Станислава 3-й степени. По возвращении из Маньчжурии продолжил обучение в Академии Генерального штаба, по окончании которой в 1908 году по 2-му разряду штабс-капитан Дутов направлен для ознакомления со службой Генерального штаба в Киевский военный округ в штаб 10-го армейского корпуса.

С 1909-го по 1912 г. преподавал в Оренбургском казачьем юнкерском училище. Своей деятельностью в училище Дутов заслужил любовь и уважение со стороны юнкеров. Одним из его учеников был Г.М. Семёнов — впоследствии Забайкальский

войсковой атаман... В декабре 1910 г. Дутов награждён орденом Св. Анны 3-й степени, а 6 декабря 1912 г., в возрасте 33 лет, произведён в чин войскового старшины (соответствовавший армейский чин — подполковник). В октябре 1912 г. командирован для годичного цензового командования 5-й сотней 1-го Оренбургского казачьего полка в Харьков. По истечении срока командования в октябре 1913 г. вернулся в училище, где прослужил до 1916 года.

20 марта 1916 г. Дутов добровольцем ушёл в действующую армию, в 1-й Оренбургский казачий полк в составе 10-й кавалерийской дивизии III конного корпуса 9-й армии Юго-Западного фронта. Принимал участие в наступлении Юго-Западного фронта под командованием Брусилова, во время которого 9-я русская армия разгромила 7-ю австро-венгерскую армию в междуречье Днестра и Прута. Во время этого наступления дважды ранен, второй раз тяжело. Однако уже после двух месяцев лечения в Оренбурге вернулся в полк. 16 октября Дутов назначен командующим 1-м Оренбургским казачьим полком совместно с князем С.В. Бартевым.

В аттестации Дутова, данной ему графом Ф.А. Келлером, говорится: «Последние бои в Румынии, в которых принимал участие полк под командой войскового старшины Дутова, дают право видеть в нём отлично разбирающегося в обстановке командира и принимающего соответствующие решения энергично, в силу чего считаю его выдающимся и отличным боевым командиром полка». К февралю 1917 г. за боевые отличия Дутов награждён мечами и бантом за

ордену Св. Анны 3-й ст. и орденом Св. Анны 2-й ст.

После Февральского переворота 1917 года избран в марте 1917-го товарищем (заместителем) председателя Временного Совета Союза казачьих войск, 1 июня 1917 г. — председателем II Общеказачьего съезда в Петрограде, а 7 июня 1917 г. — председателем Совета Союза казачьих войск. В сентябре 1917 г. избран атаманом Оренбургского казачьего войска и главой (председателем) войскового правительства. По своим политическим взглядам Дутов стоял на республиканских и демократических позициях.

К октябрю 38-летний Дутов превратился в знаковую фигуру, известную всей России и популярную в казачестве. 26 октября (8 ноября) Дутов вернулся в Оренбург и приступил к работе по своим должностям. В тот же день он подписал приказ по войску № 816 о непризнании на территории Оренбургского казачьего войска власти большевиков, совершивших переворот в Петрограде, став, таким образом, первым войсковым атаманом, объявившим войну большевизму.

Атаман Дутов взял под свой контроль стратегически важный регион, перекрывавший сообщение центра страны с Туркестаном и Сибирью. Перед атаманом стояла задача провести выборы в Учредительное собрание и поддерживать стабильность в губернии и войске вплоть до его созыва. С этой задачей Дутов в целом справился. Приехавшие из центра большевики были схвачены и посажены за решётку, а разложившийся и настроенный пробольшевистски (из-за демагогически-антивоенной позиции большевиков) гарнизон

Оренбурга разоружён и распущен по домам.

В ноябре Дутов избран членом Учредительного собрания (от Оренбургского казачьего войска). «Родзянко, Милюковы, Гучковы, Коноваловы хотят вернуть себе власть и при помощи Калединых, Корниловых и Дутовых превращают трудовое казачество в орудие своих преступных целей...» — этими словами открывалось обращение большевистского Совета Народных комиссаров (СНК) от 25 ноября 1917 г. А главному комиссару Черноморского флота и «красному коменданту Севастополя» В.В. Роменцу СНК послал следующую «установочную» телеграмму: «Каледины, корниловцы, дутовы — вне закона!» — красноречивый памятник «революционного правосознания»...

Открывая 7 декабря 2-й очередной Войсковой Круг Оренбургского казачьего войска, Дутов говорил:

«Ныне мы переживаем большевистские дни. Мы видим в сумраке очертания царизма, Вильгельма и его сторонников, и ясно определённо стоит перед нами провокаторская фигура Владимира Ленина и его сторонников: Троцкого-Бронштейна, Рязанова-Гольденбаха, Каменева-Розенфельда, Суханова-Гиммера и Зиновьева-Апфельбаума. Россия умирает. Мы присутствуем при последнем её вздохе. Была Великая Русь от Балтийского моря до океана, от Белого моря до Персии, была целая, великая, грозная, могучая, земледельческая, трудовая Россия — нет её».

16 декабря атаман разослал командирам казачьих частей призыв направить казаков с оружием в войско. Для борьбы с большевиками нужны были люди и оружие; на оружие он ещё мог рассчитывать, но

основная масса казаков-фронтовиков воевать не хотела, только кое-где формировались станичные дружины. В связи с провалом казачьей мобилизации Дутов мог рассчитывать лишь на добровольцев из офицеров и учащейся молодёжи, всего не более двух тысяч человек, включая стариков и необстрелянную молодёжь. Поэтому на первом этапе борьбы оренбургский атаман, как и другие лидеры антибольшевистского сопротивления, не сумел поднять на борьбу и повести за собой сколько-нибудь значительное число сторонников.

4. Каргин — атаман 1-го округа Оренбургского казачьего войска.

5. Кобозев Пётр Алексеевич (1878—1941) — член РСДРП с 1898 г. В 1915—1916 гг. — в ссылке в Оренбурге, один из руководителей Оренбургской социал-демократической организации. После Февральского переворота — начальник и комиссар Ташкентской железной дороги. Активный участник Октябрьского вооружённого восстания, делегат 2 съезда Советов. С ноября 1917 по февраль 1918 г. — чрезвычайный комиссар по Западной Сибири и Средней Азии, возглавлял борьбу с дутовщиной. В 1918 г. — Народный комиссар путей сообщения РСФСР, член Реввоенсовета Восточного фронта, член Реввоенсовета Республики.

6. Коростелёв А.А. (1887—1939) — рабочий. Член РСДРП с 1905 г. После Февральского переворота — председатель Оренбургского Совета рабочих депутатов, член городского комитета РСДРП, редактор газеты «Пролетарий». В 1918 г. — председатель Оренбургского Совета рабочих и солдатских депутатов, заместитель председателя Оренбургского военно-революционного комитета.

7. Цвиллинг Самуил Моисеевич (1891—1918) — вступил в РСДРП(б) в 1905 г. В 1907 году за участие в вооружённых выступлениях в период революции 1905—1907 годов (ограничил аптеку, застрелив аптекаря — своего дальнего родственника) приговорён к смертной казни, заменённой 5-летним тюремным заключением. В 1916 году во время Первой мировой войны мобилизован в армию. В 1917 году после Февральской революции С. М. Цвиллинг — председатель Челябинского совета и председатель комитета РСДРП(б). Избран депутатом Учредительного собрания от Оренбургского избирательного округа по списку № 8 (РСДРП(б)). Приехал в Санкт-Петербург для участия в полуподпольном VI съезде РСДРП(б), стал одним из лидеров Октябрьской революции, комиссаром в Санкт-Петербурге и делегатом Второго Всероссийского съезда Советов. Вернувшись на Южный Урал, Цвиллинг организовывал красные отряды для борьбы с белоказаками атамана Дутова. Арестован в ноябре 1917 года, но бежал из-под стражи и с ноября 1917 года Цвиллинг — комиссар Совета Народных комиссаров Российской Советской Республики в Оренбурге и председатель Военно-революционного комитета (ВРК) Оренбурга. С марта 1918 года — председатель Оренбургского губисполкома. 4 апреля 1918 года во время боя в станице Изобильной Оренбургского казачьего войска Самуил Цвиллинг убит войсковым старшиной С.В. Бартевым.

8. Огнёвщики — пожарные.

9. 22 марта — по старому стилю. По новому — 4 апреля.

10. Мякина — вымолоченные колосья, от которых отвезено зерно.